



# ЖРЕБИЙ

Нина Халикова

# Нина Николаева Халикова

## Жребий

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=42975797](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42975797)*

*Жребий: роман / Нина Халикова: Фонд развития конфликтологии;*

*СПб.; 2018*

*ISBN 978-5-6040100-7-5*

### Аннотация

В новой книге Нины Халиковой переплетены судьбы трех человек, через диалоги, переживание героями сложных жизненных ситуаций, их поступки раскрывается их характер и отношение друг к другу. Здесь есть все – любовь, предательство и верность, радость жизни и смерть.

Одним из главных героев является успешный психотерапевт, полюбивший свою пациентку. Жизнь ставит его перед выбором – остаться с любимой и потерять практику или сохранить практику, тем самым предав не только любимую женщину, но и себя самого. Что же выберет главный герой, чтобы получить свой счастливый жребий?

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

97

# Нина Николаевна Халикова

## Жребий

### Роман

© Н. Н. Халикова, 2018

© Фонд развития конфликтологии, 2018

*...Да будут ясны дни твои,  
Как милый взор твой ныне ясен.  
Меж лучших жребиев земли  
Да будет жребий твой прекрасен.*

*А. С. Пушкин*

\* \* \*

Когда-то давно, когда я был младенцем, а младенцем я был лет примерно до пятнадцати-шестнадцати, моя матушка, женщина строгая, пуританских правил, в каждый день моего рождения поднимала бокал, и неизменно желала мне прекрасного жребия, который обязательно выпадет на мою долю, жребия лучшего из лучших. Я не слишком обращал внимания на ее слова, не придавал им значения потому, что не знал их смысла. Прекрасный жребий. Лучший жребий. Не уверен, что понял их смысл и теперь, спустя более двадцати

лет.

Сейчас мне уже тридцать семь, и мои темно-каштановые волосы в большинстве своем сохранили цвет молодости, но кое-где уже начали седеть, поэтому я зачесываю их не назад, как делал прежде, а вперед, на лоб. Я сижу за рулем своего отлакированного темно-синего «ауди», и еду в сторону дома. Еду, надо сказать, не спеша, как будто оттягиваю возвращение домой, к жене. Я это отлично понимаю, и такое понимание не радует, совсем не радует душу... Где-то глубоко внутри прорываются сочувственные нотки к себе самому.

По обеим сторонам широкого проспекта двумя полноводными реками текут автомобили. В радиоприемнике кто-то бренчит на саксофоне что-то невразумительное, извлекая одну единственную музыкальную фразу, повторяющуюся без конца. Эта странная музыка с ее волнообразными приливами и отливами поднимается и замолкает в моей голове, не проникая в мой разум, не трогая моего сердца, – словом, никакого духовного омовения не происходит. Сегодня заунывная мелодия саксофона не созвучна моему эстетическому вкусу, а скорее вносит разлад в мою душу. Уловив эту мысль, я немедленно выключил приемник и почувствовал себя очень усталым.

Этим летом я безвылазно сижу в городе, в пыльной суете мегаполиса, потому что завалил себя работой. Меня зовут Митя, точнее было бы сказать, что время Мити с пожеланиями лучшего жребия безжалостно миновало, а на его

месте возник Дмитрий Михайлович Валевский. И этот самый Дмитрий Михайлович Валевский, то есть я, до недавнего времени считал себя неким праведником, самостоятельно сотворившим свою славную, удобную, очень размеренную жизнь. И не то чтобы я раз и навсегда исключил из нее распутство с продажными женщинами – вовсе нет, просто я никогда особо и не позволял себе ничего подобного. Я считал себя человеком со стальным стержнем внутри, я не был пьяницей, не было у меня никогда и суицидальных наклонностей, не было даже случайных увлечений, да и ни к чему не обязывающего флирта с хорошенькими женщинами тоже не было. Словом, слишком внимательный к собственной персоне трезвенник, с аскетичным взглядом и довольно обширным набором самоограничений. Судя по всему, ограничения эти и подавили во мне все безрассудство, я стал излишне рассудительным, но отнюдь не счастливым. Когда-то я отказался от бесшабашных внезапных порывов, предпочтя им запланированную скуку и целомудрие, по наивности надеясь именно в них-то и обрести нечто, напоминающее лучший жребий.

Теперь я уже забыл в какое время это началось – то ли перед защитой диссертации, то ли уже после, – но сначала я перестал чувствовать вкус поцелуя (разумеется, скучного поцелуя моей правильной жены), а потом... потом я перестал чувствовать вкус и самой жизни. Так или иначе, но я перестал замечать молодые весенние побеги, превращающиеся в

свежие листья, едва оперившиеся ветви кустов, не обращал внимание на осеннее солнце, по утрам озаряющее мои окна, перестал разглядывать дивные белые женские шеи, и еще очень и очень многое из того, что прежде приводило меня в неопикуемый восторг и давало почувствовать себя счастливым взрослым ребенком. Надо ли говорить, что и вино в бокале стало на редкость пресным и безвкусным. Увы! Увы! Но зато я обзавелся обширной психотерапевтической практикой, защитил диссертацию, получил все вытекающие отсюда регалии и звания, стал уважаемо-почитаемым в обществе, с недурными счетами в нескольких банках, бесконечными конференциями, выступлениями, аплодисментами, превосходным тиражом своих собственных книг и т. д. и т. п. Ну и что? Это ли лучший жребий?! Если это действительно прекрасный жребий, и лучше этого уже не будет, то мне необходимо срочно пойти и броситься в реку с ближайшего моста.

И как назло, как назло, ведь нельзя сказать, что мне в жизни не повезло, потому что внешне, при определенном освещении, я похож на символ счастья и беззаботности, великодушия и силы. Ну, что ж – вроде бы и неплохо. Моя жена Лидия – женщина, наделенная умом, с хорошими манерами, правда, несколько увлеченная общественным мнением, но зато с восхитительным лицом и умением тонко чувствовать все и вся. Да и я, надо сказать, тоже человек на редкость чувствительный. Но... Но, это наше общее качество нам никак не помогло ни понять, ни почувствовать, ни уловить друг

друга. Однако, на мой взгляд самое неприятное – это то, что мое супружество никак нельзя назвать не удачным.

Когда-то, много лет назад, я женился на прекрасной молодой женщине – женщине-мечте, потому что был увлечен, потому что всецело привязался к ней, и наши первые годы, насквозь пропитанные нежностью, оставили в моей памяти все тогдашние краски. Но и только. Мелодия тех ушедших лет резко отличается от ее сегодняшнего звучания. Те волшебные тона – от ликовавшего ярко-красного до неисто-во-огненного – теперь совершенно обесцветились, превратились в буднично-унылые, безвкусные, совершенно одинаковые. И, наверное, уже невозможно остановить или замедлить это вечное движение жизни в сторону умирания. Вероятно, это произошло потому, что я никогда не любил свою жену, а был всего лишь увлечен, очарован ею, польщен ее вниманием к своей более чем приглядной, в высшей степени достойной персоне. Кроме того, в то время о любви речь вообще не шла, в то время я ошибочно считал любовь несуществующей химерой, только лишь потому, что она не удостоила меня своим вниманием. Тогда я придавал значение исключительно лучшему жребию. Да и по сей день наше супружество выглядит спокойным и счастливым только с виду. А видимость, как известно, – вещь обманчивая, ибо супруги в этой счастливой иллюзии чувствуют постоянный тоскливый привкус одиночества. Все же иногда наши руки переплетаются, а губы прижимаются к губам, но эти действия за-

частую порождаются жалостью к другому, а чаще всего жалостью к себе.

Сейчас мне трудно припомнить, как же это вышло, что я забыл, когда в последний раз от души смеялся какой-нибудь нелепой, примитивной шутке, когда искренне радовался настоящей, текущей минуте, забывался в невесомости собственных мыслей. В какой момент погоня за каким идолом взяла свое? Слишком долго я был убежден в обладании правом на лучший жребий, слишком долго я был уверен, что мое незаконченное строительство собственной судьбы вот-вот превратится в нечто фундаментальное – в роскошный дворец с прекрасной перспективой, идеальными садами и голубым небом. И что из этого вышло? Вышла банальнейшая уродливая глыба, состоящая из амбиций, помноженных на тщеславие, обязанностей и бесконечных долженствований. И эта глыба до недавних пор представлялась мне чем-то утвержденным и окончательным, чем-то не требующим сомнений, в том числе и с точки зрения морали. На деле же моя жизнь закончилась от обыденности и скуки. Оставалась лишь жиденькая надежда – отведать, что же такое любовь, но избыток, и даже переизбыток здравого смысла сводил к нулю эту сухую малость. Так продолжалось до тех пор, пока в кабинет не вошла ОНА... Моя будущая пациентка Лара...

Представив себе Лару, Валевский тут же возблагодарил Бога за это скопище машин, за эту небольшую отсрочку, предоставившую ему возможность отдаться своим мыслям. И мысли эти (несмотря на то что дома его ждала жена, его всегда дома ждала жена) целиком и полностью были поглощены Ларой: ее пленительным формам, гордой посадки головы, необыкновенно трогательным рукам с припухшими венками, слишком живым миндалевидным глазам песочного цвета, таящим в своей глубине странный огонь, каким-то мимолетным чертам и особенностям ее запаха с примесью старомодной сладкой пачули. Во всем ее облике Валевский чувствовал такую притягательную силу, что ему становилось не по себе. С этим трудно примириться, но с появлением Лары в его жизнь стало возвращаться прежнее очарование вещей, начали возрождаться юношеские порывы, почти умерщвленные спокойным семейным счастьем и достижением «лучшего жребия». В этом была какая-то своя особенная правда, неподвластная общепринятым законам логики, несовместимая со здравым смыслом. «Как сладко ум забыть порой, как сладко ум забыть порой», – закрутилась фраза в голове у Валевского.

Лара была старше Дмитрия. К тому же она не была наделена той общепринятой кукольнообразной красотой, кото-

рая так уверенно вошла в моду в последнее время. Она была совсем другой. Но, когда она впервые открыла дверь его кабинета, самоуверенный Валиевский почему-то почувствовал некоторое замешательство в сочетании с легкой внутренней неуверенностью, чего за ним прежде никогда не водилось. Тогда он буквально одернул себя за рукав, но исключать возможность целомудренного романа почему-то не стал. И, возможно, это было его первой грубой, нелепой ошибкой, ибо на такие внутренние порывы каждый уважающий себя мозгоправ, добросовестно исполняющий служебные обязанности, должен мгновенно и хладнокровно, даже против собственной воли, надевать узду. Но он почему-то этого не сделал. Вероятно, он счел возможным поддаться этой маленькой, ни к чему не обязывающей, слабости...

Теперь машин стало меньше, быстрее замелькали площади и мосты, улицы и переулки, запыленные душным угарным газом летнего города. Духота лихорадочно витала между домов, как это обычно бывает перед грозой, нарушая привычную жизнь северной столицы. Возможно, именно из-за духоты Валиевский и выглядел крайне взволнованным и усталым. С минуту он стоял, не трогаясь с места, раздумывая, что ему делать. В таком виде ему не хотелось без нужды показываться жене. Рассудив здраво, он решил повременить пока с возвращением в семейное гнездо, а заодно забыть свою благодетельную привычку и не призывать на помощь мораль, чтобы образумиться. Валиевский решил встретиться со старым дру-

гом детства, возможно, слегка попировать в прохладном пабе, чтобы, так сказать, развеяться, снять тяжкое бремя, лежащее у него на сердце. Не исключено, что ему просто захотелось отбросить в сторону напряжение, а заодно и ум, появилось желание, пусть и ненадолго, но почувствовать себя свободным и беспечным прожигателем жизни, в точности так, как это было когда-то в юности, в которой не донимали память и чувство вины. Как только он принял решение встретиться со Стасом, тут же испытал заметное облегчение. «Как сладко ум забыть порой... как сладко ум забыть порой...» — все активнее звучала эта навязчивая мысль в его голове.

\* \* \*

Журналист средней руки Стас Корчак, по паспорту русский, а по крови польский еврей, вот уже пятнадцать минут сидел в привычной забегаловке, именуемой пабом, покуривая и предупредительно-вежливо посматривая то на часы, то на вращающиеся двери из дорогого дерева и стекла, то на два стакана с виски. Он ждал Валевского.

Стас был приземистым, невысокого роста, но плотного, объемного телосложения. Коренастую фигуру его тесно облегал серая текстильная куртка, надетая поверх белой хлопковой рубашки, выглядывающей наружу манжетами и воротничком. А прямо на воротничке, ввиду отсутствия шеи, сидела огромная косматая голова с рыжеволосой разросшейся

шевелюрой и такой же бородой. Лицо Стас имел одухотворенное и даже довольно симпатичное, если бы не нос, изрытый ямками. Как-то особенно не задалась переносица, она слишком уж выпирала, правда, у мужчин его национальности в этом-то и состоит известное изящество.

Через некоторое время пустого ожидания, Стас с силой вдавил в пепельницу дымящуюся сигарету, потер короткими пальцами обветренное лицо с облупившимся от летнего солнца неудачным носом, поправил растрепанную густо разросшуюся бороду, а непослушные огненно-рыжие волосы на голове, наоборот, взъерошил, пытаясь таким образом прикрыть свои уши, из которых выбивались пучки такой же огненно-рыжей поросли, от которой, по-хорошему, давно бы полагалось избавиться, да вот только все руки не доходили. После всех этих вынужденных приготовлений, если не сказать прихорашиваний, вызванных предстоящей встречей со старым товарищем, Стас уселся поудобнее и, наконец, сложил расслабленные ладони чашечкой на кругленьком животе.

– Какие люди. Как дела, дяденька<sup>1</sup>? – расплываясь в широкой белозубой улыбке, спросил Стас подошедшего к нему слегка задумчивого Валевского.

– Здорово! Какие дела, краснобай ты наш, какие? Нет никаких дел, – отозвался тот после церемонного мужского рукопожатия. – Как твоя печень?

---

<sup>1</sup> Обращение шута к королю Лиру в одноименной трагедии В. Шекспира.

– Печень? Что печень? Знаешь, приятель, мы с печенью уже несколько месяцев исподтишка за тобой наблюдаем, и лишь прирожденная деликатность удерживает нас от слишком откровенных вопросов.

– Что такое? – усаживаясь за стол, пристально изучая два стакана с виски и потирая руки от предвкушения, спросил Валевский.

– Колись, ты чего такой загадочный? Зачем звал?

– Тебе приспичило выслушать мою мрачную исповедь, что ли? Ты ж вроде журналист, а не аналитик, прости господи, – отозвался Дмитрий, сделав первый небольшой глоток виски и блаженно закатив глаза.

– Я так понимаю дома дела не клеятся? Или где?

– Много будешь знать, скоро состаришься, так что отвали! Не обо всем на свете надо говорить, – Валевский пытался выглядеть как можно беззаботнее, понимая, что не готов даже с другом обсуждать свою жизнь, поскольку не привык к публичным саморазоблачениям, даже если публикой был старый товарищ.

– Ой-ой-ой! Так ты и не говори обо всем на свете. Я и не прошу тебя обо всем на свете. Я уверен, что твой психоаналитический извращенный ум обязательно подскажет тебе пару-тройку искусных фраз, чтобы выразить то, что мне знать положено, и умолчать о том, чего мне знать не положено. А?

– А с чего ты вообще решил, что тебе что-то положено

знать?

– Интуиция, дяденька, интуиция, – проще говоря, нюх.

– Ладно, мужайся, ты сам этого хотел! Слухай сюда: я, Дмитрий Валевский, будучи в трезвом уме и здравой памяти, хочу уйти от жены к другой женщине.

– Это ты говоришь?

– Это я говорю, а что?

– Мне показалось, что это говоришь не ты. Это говорит твоими устами какой-то поселившийся в твоей башке бесовский дух. Что за ребячество? Нехорошо так распускаться.

– Нет, увы, должен констатировать: это говорю я. Слухай дальше: у меня хорошая жена, но отвратительные отношения.

– Разве при хорошей жене могут быть плохие отношения? – только сейчас Стас заметил, что Валевский плохо выглядит, будто что-то в нем надорвалось или даже сломалось.

– Ты плохо слушаешь, золотце. Я сказал, не «плохие отношения», а «отвратительные отношения». Это не одно и то же, – более серьезно поправил Валевский, думая о том, как же он устал любоваться собственным благопристойным образом, как же ему до чертиков надоел этот самый образ. Ведь именно этот безукоризненный образ и заставил принести себя в жертву образцовой семье: скучным семейным ужинам, скучным ночам, скучным поездкам в отпуск, скучным походам в театр, скучным домашним разговорам – словом, семейной рутине.

– Почему отвратительные?

– Почему, почему? Потому что, мне кажется, я люблю другую женщину, – сказал он резче, чем хотел. Виски дивно заиграло, забурлило, заплескалось и в голове, и в теле Дмитрия, и он счел возможным продолжить этот, казалось бы, невозможный, немужской разговор.

– Любишь, ну и люби себе на здоровье. Это ж отлично, дяденька. А чего страдать-то? Только удовольствие себе портить.

– Так я ж в тупике, Стас.

– А ты примени свои познания в психологии, вправь сам себе мозги, глядишь поможет. Ты ж у нас голова!

Услышав слово «психология», Дмитрий почему-то с откровенной гадливостью поморщился и снова отхлебнул теперь уже большой глоток виски.

– Как сладко ум забыть порой... – он сказал это вслух, неожиданно для самого себя, хотя в последнее время и так казался самому себе слабоумным.

– Я тебя не совсем понимаю, – дружелюбно отозвался Стас.

– Конечно, не понимаешь, как ты можешь меня понять? Просто мы с тобой слишком разные.

– Постой, постой. То есть как это разные? Ты прожил жизнь без любви, ну и я прожил жизнь без любви. Ты чувствуешь себя несчастным, и я тоже чувствую себя несчастным. Так?

– Так.

– В чем же здесь разница? Не люблю неясностей.

– А разница в том, золотце, что ты запрещаешь себе любить, но позволяешь половую, прямо-таки матросскую, неразборчивость в связях. А моя половая жизнь, наоборот, слишком упорядочена, никаких спонтанных случаев, в сравнении с другими, я позволяю себе любовь, примерно, как священник. Правда, мы оба испытываем мучения, глядя на счастливых влюбленных людей. Так? Только не говори, что это не так. Я не поверю.

– Ну, про матросскую ты, конечно, загнул... чего уж там... я уж и сам-то ничего такого не припомню... Слышь, Димон, а может ты перестанешь изображать евангельскую простоту, и мы с тобой гульнем как следует? А? Так сказать, расслабим брентную плоть. Ты посмотри, сколько вокруг нас выросло гладеньких, хорошо откормленных, но дурно воспитанных красоток. Это же настоящий рай для самца. Мы чудесно проведем время, дяденька.

– Черт возьми, Стас, ты переходишь все границы цинизма. Прививать мне вкус к подобного рода досугу уже бесперспективно. Меня не увлекают современные полуистеричные полупринцессы-полупрачки, я же сказал, что люблю другую женщину, понимаешь? Чего тарачишься как бобик на колбасу? Наливай! – Валевский сейчас остро почувствовал, что просто одержим этой самой другой женщиной, и ему вовсе не хотелось, чтобы эта одержимость покинула его, скорее на-

оборот, он жаждал, чтобы она, напротив, пустила в нем глубокие корни.

– Господи, Валеvский, как же все запущено-то. Ну и кто она, эта твоя любовь?

– Это моя пациентка, – буднично признался Валеvский, точно крутить романы с пациентками в его сфере деятельности считалось само собой разумеющимся. – Только молчи, ничего не говори, прошу тебя! Она замужем, и к тому же старше меня почти на пять лет.

– Час от часу не легче, Димон, твоя пациентка?! – Стас внимательно посмотрел на друга, но восторга с восхищением в этом взгляде отнюдь не наблюдалось, а просматривалось нечто похожее на банальное человеческое сострадание.

– Да, Стас, моя пациентка, – утвердительно кивнул Валеvский.

– Стоп, стоп, а как же...

– Послушай, Стас, только не изображай из себя комитет по этике. Я, по всей видимости, ужасный трус, и трус потому, что мне всю жизнь недоставало храбрости внять голосу рассудка, давно и напрасно твердившего мне, что я глубоко несчастен в своей «счастливой» жизни. Черт бы ее побрал, эту самую счастливую жизнь! – прикрикнул Валеvский неизвестно на кого. – А эта женщина пришла и перевернула все вверх дном, сломала все стереотипы. То, что я испытываю, во сто крат острее всего того, что мне довелось испытать прежде. И я за это ей благодарен, и мне осточертело быть

унылым блюстителем профессиональных и этических норм. Не хочу я сидеть на этической диете. Все к черту! Наливай!

Стас решил оставить эту откровенность подвыпившего товарища без внимания и промолчать. В принципе, он благосклонно относился к любого рода сумасбродству как мужскому, так и женскому, но влечение к стареющей замужней женщине и к тому же пациентке – это, пожалуй, перебор, особенно для такого сухаря, коим безусловно всегда считался Дмитрий Валевский. «С другой стороны, – трезво рассуждал про себя Стас Корчак, – если эта „пенсионерка“ – предел его мечтаний, венец его амбиций, то почему бы и нет? В конце концов, пути творца неисповедимы, не так ли, господи?»

– Вся моя прежняя счастливая жизнь вместе с моим удачным браком летит ко всем чертям, – разошелся Валевский.

– Валевский, извини, но это не кошерно. И если некая дама расшевелила твою невозмутимость, то это еще ничего не значит, поверь. Как говорится: «О делах подобных не размышляй, не то сойдешь с ума»<sup>2</sup>.

– А ты, что же это, не слишком мудрый Мерлин, пытаешься меня соблазнить своим недюжинным интеллектом, что ли? Так я ж вроде не в твоём вкусе?

– Прости, дяденька, прости, сорвалось по привычке.

– Я много видал-перевидал на своей работе, ты же знаешь, но я никогда не утруждал себя поиском любви. Особенно на работе. Но это женщина совсем другая, она особенная. Она

---

<sup>2</sup> Слова леди Макбет из одноименной трагедии В. Шекспира.

как будто для меня. Понимаешь?

– Охолони, старик, охолони слегка. Что ты, в самом деле? Ты много лет упорно пытаешься понять человеческую природу, и ни черта не смыслишь в простых житейских вещах?!

– А ну-ка, просвети меня, умник.

– Ладно, учись, Димон, пока я добрый. Я не имею ни малейшего представления о теории, но с практикой хорошо знаком, – проговорил Стас, делая знак официанту.

– Тоже мне педагог.

– Ага, именно. Слухай сюды. Женщины – это как азартная карточная игра, со строго установленными правилами. Сечешь? Никому ведь не придет в голову возмущаться этими правилами. Правда? Главное – их знать, уметь блефовать, распознавать блеф другого, владеть собственными эмоциями, и тогда можно неплохо провести время, и даже с некоторой пользой для себя. Ты можешь верить или не верить тому, что они говорят, – неважно, ты, главное, не возражай. Представь себе, что играешь в покер. Там ведь ты не возражаешь? А, Димон?

– Как думаешь, Стас, твое красноречие попеременно с едкими причудами продиктованы журналистской закалкой или четвертой порцией вискаря?

– Я бы попросил, – возмутился Стас, – я бы попросил вас, Дмитрий Михайлович, более уважительно отзываться об этой древнейшей науке, не побоюсь этого слова, уходящей своими корнями в исторические, политические, культу-

ролог...

– Але, прекращай. Не до того... Ты мне действуешь на нервы.

– Прошу прощения, сбился с рельс, не знаю, куды бечь. О чем это я? Ах да, о женщинах. Итак, о, женщины! Слушай, Валевский, с женщинами, так же как и с политиками, главное – что? Главное – не возражать и не бросаться в пошлые крайности. Не начинать, не приведи бог, что-то им объяснять, они же считают, что все знают и без нас. Усек? В политике, например, не прощается инакомыслие, сомнение, – тебе простят любую любовную интрижку, черт с ней, с интрижкой, но не простят расхождение во взглядах. Женщина же, напротив, никогда не забудет любовный пыл, предназначенный для другой, но ей нет никакого дела до твоих политических воззрений. Понял?

– Не особо, – Стаса в его разглагольствованиах куда-то занесло. Дмитрий, не возражая, просто пропускал все эти напыщенные тирады мимо ушей.

– Вообще говоря, многие женщины считают своим долгом не только содрать с тебя кожу живьем, но и заставить тебя же за это благодарить.

– Да? Не замечал.

– Кто сказал, что наша жизнь – игра? – продолжал Стас.

– Откуда я знаю, я не помню, это ведь по твоей части, – Валевский откинулся на спинку стула и посмотрел куда-то в сторону.

– Здрасьте вам, а я-то считал тебя энергичным, все успевающим всезнайкой-интеллектуалом. А ты!?

– Иди ты со своими выводами! И вообще, переизбыток энергии не всегда идет с интеллектом рука об руку, а в моем случае – как-то особенно.

– Если наша жизнь – игра, то нужно знать и соблюдать правила и не выдумывать свои. В игре, Димон, следует вести себя умно, только и всего. И держать свою правду при себе. Давай еще по рюмашке? А?

– Стас, ты никогда не думал о смене профессии? Ты бы своей болтовней украсил любой политический олимп и от женщин бы не знал отбоя. Женщины любят мужиков-политиков, говорят, что власть притягательна. Ты бы как сыр в масле катался.

Валевский раскраснелся, расстегнул ворот рубашки и ослабил галстук.

– Э нет, дружище, нет, ты мне льстишь. Куды там! Для политика я недостаточно красноречив, а для прекрасного пола рожей не вышел. Не то что ты! Эти прелести жизни мне недоступны. Остается что? Остается вино да собственное сумасбродство, слетающее по ночам с кончика пера на бумагу, или нет, теперь уже с клавиатуры на экран. А потом... а потом, с наступлением утра, сухость во рту, хворь и полнейшее отвращение к собственному творению, – закончил Стас на минорной ноте и сам тут же загрустил.

– Ты, Стас, хоть и умный парень, ничего не скажешь, но

моего положения это никак не облегчает.

– Могу дать бесплатный совет. Поменьше рассуждай на любовную тему, Валевский, а то все испортишь. Желание, замутненное рассудком, да еще и с примесью рассуждений, – вещь на редкость пресная, я бы даже сказал, безвкусная. Так что, отбрось-ка ты куда подальше свой разум, а то обещание счастья, так и останется для тебя вечным обещанием. Побольше дурусти, Валевский, побольше дурусти, мой друг! И помни, сказка про Иванушку-Дурачка – это, как-никак, наш любимый национальный миф.

Пока они разговаривали, в пабе сделалось весело и многолюдно. Валевский пошатываясь встал, взял со стойки бутылку и налил еще по порции.

– Что за сюсюканье у них в динамике? Кто это у них там поет?

– А я почему знаю.

– Слушай, Стас, мне надоело это тихое занудное бляение. Я хочу, чтоб гремел рок! – его рука, держащая стакан, сжала его со всей силы, так что костяшки пальцев побелели.

– Рок?

– Да, именно рок! – Валевский был весел, неестественно весел, надрывно весел.

– Рок, как направление в музыке, или рок, как злая судьба? – на всякий случай решил уточнить Стас.

– Эх ты... мудрый-глупый Мерлин! Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю!

До дома Дмитрий Михайлович добрался поздно, когда на бульварах вечер застыл в деревьях, в погасших витринах и вывесках, в запертых дверях опустевших ресторанов. От нависших туч было темно, в тишине стучали лишь его одинокие шаги, да еще редкие капли, стекающие с крыш. Эта вечерняя тишина раздражала его не меньше, чем дневная грохочущая суতোлка, а это нехороший признак, ох, нехороший, и Дмитрий это знал, как никто другой. Он шел по широкой пустынной улице, наступая в лужи, не щадя своих лаковых ботинок на тонюсенькой кожаной подошве. Шел Валевский осанисто, но немного покачиваясь то ли от виски, то ли от слабого ветерка, который приятно касался его лица, освежая затуманенную голову, шел, забирая в легкие побольше влажного вечернего воздуха. При виде своего подъезда Дмитрий зябко содрогнулся, и, не решившись сразу шагнуть внутрь, уверенно прошел мимо, чтобы сделать еще пару кругов...

Жена Лида зачем-то ждала его и не ложилась спать. Зачем она постоянно ждала его? Ее глаза были густо и трогательно подведены синими тенями и еще тревогой, да, были подведены тревогой, но, правда, без единой капли гнева. Сердце Дмитрия слабо сжалось от одного ее вида, но почти сразу же его благополучно отпустило.

– Почему ты не спишь? – буркнул он, топчась на коврике в

передней, и делая вид, что не знает, куда положить портфель.

Не отвечая, она взяла у него портфель, и, стараясь не смотреть на него, помогла раздеться. Своими маленькими пухлыми ручками она заботливо высвободила мужа из сырого, измятого ушедшим днем льняного пиджака. Он прижал ее все еще родную мягкую руку к своим губам, то ли стараясь быть джентльменом до кончиков ногтей, то ли под воздействием ее несчастных глаз, он не знал, но, скорее всего, это была всего лишь элементарная вежливость, давно установленная домашняя формальность.

Лида работала фотографом в одном глянцевоm издании, том самом, где стряпают дамские очаровательные глупости, а потом восхищаются этими глупостями своих читательниц. По правде сказать, работала – это слишком громко сказано, потому что на ее долю выпадало две-три жиденские съемки в месяц и не более. В остальное время она была свободна, как вольная птица. Валевский не имел понятия, чем она занимается днем. Ведь кроме хозяйственных покупок дел у нее не было, а может были, – он не знал, и у него недоставало сил и желания всерьез этим поинтересоваться. Ему было все равно.

Когда-то давно Лида была прекрасно сложена и прятала свои золотисто-серые, как море, глаза за дурацкими фиалковыми линзами. Тогда у нее было всегда превосходное, игривое, манящее настроение, и Дмитрию не нужно было ломать себе голову над тем, как провести с ней время и о чем гово-

рять, – все превосходно выходило само собой. Когда-то... А сейчас его приводила в ужас мысль, что он должен до утра пробыть в этой квартире, должен провести ночь в одной постели с этой чужой, измученной женщиной. Как же так? Этого не может быть! Когда же это, черт возьми, началось? Разумеется, Валевский мог бы уйти в соседнюю комнату под предлогом срочного написания рабочей статьи или еще какой-нибудь невысказанной дребедени, и переночевать там на диване, Лида бы поняла, не возмутилась и не обиделась. Но ему самому это было слишком неприятно. Дело, конечно, во все не в любовных притязаниях его жены (последние годы его некогда бойкий темперамент щедро удовлетворялся десятью часами ежедневного приема пациентов, после чего все жизненные силы были исчерпаны, и до недавних пор его это вполне устраивало), но даже физическое присутствие жены рядом в постели было плохо переносимым, неприятным. А самым неприятным было то, что он ее не любил. Не любил. Все из-за этого. Нелюбовь – это то, что можно анализировать или на что попросту не обращать внимания, то, с чем можно соглашаться или отрицать, загонять вглубь себя или выпускать наружу, но изменить это никак нельзя. Нельзя – и все тут!

Какой бы чудесной красавицей она ни была, он ее не любил. И, вообще, разве можно любить за что-то? Нет, нельзя. Ну нет таких прекрасных или отвратительных качеств личности, которые порождают любовь, – она либо есть, либо

ее нет. Ладно, он решил, что самое главное – кое-как дожить до утра, а утром пораньше подняться и поскорее убежать на работу. Ведь завтра на прием придет ОНА, Лара.

– Лидочка, с тобой все в порядке? – кое-как выдавил из себя Валевский.

Лида едва заметно кивнула, не в силах ответить шевельнула губами, не поднимая на мужа глаза, из чего он понял, что его жена определенно вымотана. Она порывисто дышала, как бывает всякий раз с людьми после долгого тяжелого плача, но следов от слез на ее лице не было. Ей было трудно, а ему было невозможно. Вот если бы она сейчас на его глазах сложила руки фертником и устроила бы грандиозную истерику со слезами и невразумительными мольбами, если бы она предъявляла претензии, указывала на его недостатки, ставила дурацкие условия, ему бы наверняка стало легче. Но... Лида молчала. Молчала и все. И ее молчаливая покорность раздражала гораздо больше, чем крики презрения вперемежку со слепой яростью. На одно мгновение у Валевского помутилось сознание, и ему даже показалось, что нужно здесь и сейчас сделать что-то очень решительное и неоспоримое, что-то такое, что разрубило бы этот тяжкий гордиев узел, и выпустило всех запертых зверюшек на свободу. Но, на счастье это мгновение быстро прошло, слишком быстро прошло, однако оставило у Валевского на лбу и спине изрядную испарину. «Какой же я все-таки трус!» – недовольно подумал он.

Несмотря ни на что, сурруги продолжали делать вид, что

все хорошо. Валеvский еще немного потоптался в передней, а затем, повинувшись внутреннему желанию расслабиться в привычной обстановке, забыться, спрятаться в знакомых домашних мелочах от всей этой бессвязной, бессмысленной пустоты, буднично отправился в ванную чистить зубы. Возможно, именно в этот момент он должен был бы испытать ненависть к себе, испытать ее потому, что кто-то страдает по его вине. Должен бы был, – но, увы, ничего подобного с ним не случилось, и он решил пока продолжить разыгрывать роль счастливого, спокойного и рассудительного мужа. Пока. А там посмотрим. Вот если бы она, Лида, ушла от него, его бы это вполне устроило, но она, как назло, не собиралась уходить. Значит, она страдает не только из-за него, из-за Дмитрия, но она страдает из-за самой себя, из-за своих решений или их отсутствия, что в принципе одно и то же. Эта мысль принесла Валеvскому некоторое облегчение и кое-как оправдала его перед самим собой. Правда, запершись в ванной, пустив воду и начищая зубы зубной щеткой, Валеvский старался не смотреть в зеркало, чтобы не видеть там отражение довольно молодого, самоуверенного мужчины, немного усталого, слегка опьяневшего, к которому он когда-то очень неплохо относился, а нынче стыдился из-за его трусости. Впервые в жизни ему стало стыдно за себя. Когда он это понял, то уперся двумя руками о раковину, его лицо исказила молния злости, и он чуть было не застонал от досады. Нет, это был даже не стон, это был настоящий тихий

крик без слез, мужской тихий крик о помощи, взывающий неизвестно к кому.

«Но стоит ли так переживать?» – успокаивал себя Валевский. Это будет обычная скучная ночь, такая же скучная, как и другие, ей предшествующие, и другие, за ней последующие, – не лучше и не хуже. Сейчас он, Дмитрий Валевский, безнаказанно отвернется к стене, натянув на себя одеяло и поджав колени к животу, сейчас он положит голову на подушку, и долгое время будет лежать в темноте с закрытыми глазами, притворяясь спящим. После того, как он только что кое-как сыграл роль «счастливого мужа», ему предстоит сыграть роль «спящего мужа». Ну и что? Он будет стараться равномерно дышать, как это делают все люди во сне. А затем он и в самом деле окунется в спасительный, восстанавливающий растроченные силы и нервы сон. И она, Лида Валевская, измученная их счастливой совместной жизнью, сегодня будет делать в точности то же самое, – он это отлично знает. Ну и пусть. В конце концов, это ее выбор.

\* \* \*

Рассветало медленно и нудно, дома тонули в серо-белом плотном утреннем тумане. В воздухе веяло прохладной свежестью, влажной листвой и бензиновой горечью. Неба не было видно, впрочем, в городе на него никто особенно и не смотрит. Дороги отдыхали от дневного солнца, от расплав-

ленного асфальта, от летних ливней, от зимнего снега и наледи. На дорогах приплясывая мелькали бесчисленные огоньки, они то приближались, то удалялись, то замирали подмигивая, а то, спохватываясь, рвались с места, проносясь мимо других, таких же бесчисленных огоньков. Фиолетовый дым из выхлопных труб перемешивался с утренним туманом и, расплываясь во все стороны, поднимался вверх.

Приемная Валевского была выкрашена в кремовые тона, с массивной испанской мебелью. Вся клиника больше походила на уютный отель, чем на центр психологической помощи, и принадлежала, разумеется, ему, Валевскому. Дмитрий Михайлович сидел в своем рабочем кабинете за письменным столом ипил холодную газированную воду прямо из бутылки. Пил он ее большими, жадными, затажными глотками, прерываясь лишь для того, чтобы выдохнуть пузыри. Опустошив бутылку, он откинулся на высокую спинку кресла и принялся отстукивать кончиками пальцев по краю стола какую-то мелодию, понятную лишь ему одному, и думать все ту же думу.

«Лара Эдлин. Она моя пациентка. Может быть, этим дело и кончится?» – успокаивал себя Дмитрий, отлично понимая, что занимается самообманом и этим дело, разумеется, не кончится. «Черта с два, все еще только начинается, и совершенно непонятно что будет дальше. Правда, все в моих руках, – рассуждал он. – Но одно дело испытывать чувства к пациенту, и совсем другое – давать им волю». Однако, не

имея ни малейших иллюзий на этот счет, он заранее чувствовал себя побежденным. В отношении любви и счастья он всегда чувствовал себя побежденным: как бы отступая, он не оспаривал это чувство, отдаваясь на волю все того же жребия. При всем при том, что в его смятенной голове роились все эти мысли, а тело бил легкий озноб, Дмитрий Михайлович Валевский сегодня был более чем здоров, если не считать легкого утреннего похмелья.

С самого первого дня ее появления в его кабинете, у него возникло странное впечатление и от ее спокойного задумчивого взгляда, и от ее неловкого смущения, и от неуверенного «Здравствуйте», – и он решил не вести записи об этой пациентке.

Потрясающе густые волосы с огромными отросшими кончиками шоколадного цвета на кончиках. Утонченное лицо с миндалевидными, песочного цвета глазами. Она была закутана в какую-то скучно-серую робу с длинными рукавами, скрывающими не только руки, но и запястья, с высоким воротом, прячущим шею, и в слишком длинную юбку, не позволяющую увидеть не только ноги, но даже туфли. Бог ты мой! Если молодая, стройная, красивая женщина наряжается как огородное пугало (впору птиц пугать), если она с особой тщательностью прячет каждый участок своего тела, да еще посреди лета, – стало быть, добра не жди. Что значат эти ужасные серые одежды, что притаилось в их тени? «Либо руки в порезах или уколах, – рассуждал Валевский, – либо

полное неприятие своего тела, либо не доверяет миру, прячет себя от него, а может быть, считает мир неподходящим для себя местом. Словом, ничего хорошего».

Зачем она к нему пришла? Ведь после знакомства он узнал, что у нее не было суицидных импульсов, отсутствовали патологические биологические процессы, не было реакции на фармакологию, потому что не было медикаментозного вмешательства. Сон не нарушен, потери веса не наблюдалось, никаких психомоторных симптомов, никаких клинических проявлений депрессии. Ничего. Зачем же она все-таки пришла? В практике довольно часто встречаются пациенты, которые приходят, сами не зная зачем, они приходят почти интуитивно чувствуя какой-то затянувшийся процесс саморазрушения, процесс какой-то навязчивой самодеструкции, а иногда чтобы удовлетворить потребность в близости... Да, да, как ни странно это звучит, но им необходимо удовлетворить потребность в близости, даже если они напрочь забыли, что это такое. Возможно, ее обращение было желанием заполнить пустоту, приглушить страх одиночества или просто вернуть себя к жизни. Да мало ли чего.

Каждый раз она приходила – такая одинокая сомневающаяся в себе, немного неловкая, слегка подавленная, в кошмарном сером балахоне, но все же необыкновенно красивая, хотя, скорее всего, позабывшая о своей красоте, а вполне возможно, никогда о ней и не знавшая, – и что-то рассказывала. Однако от цепкого и привычно-аналитического взгляда

Дмитрия Михайловича не ускользнул необычный перстень на ее пальце, явно контрастирующий со всеми ее туалетами. Это был небольшой перстень, совершенно очевидно, что старинный, с вензелем на поверхности и рубчатыми ободками по краю. Вензель состоял из каких-то переплетенных латинских букв, и можно было подумать, что когда-то он служил своим хозяевам для запечатывания личной корреспонденции, если бы не три белых, наглых, камня, запаянных в сам вензель. Дмитрий слушал ее и понимал, что смотрит на нее не как терапевт на пациентку, а как мужчина на женщину. Причем, что этому поспособствовало, разгадать было трудно. Он давно так ни на кого не смотрел – немного смущаясь, но не без явного удовольствия.

– О чем мы сегодня будем говорить? – усаживаясь на самый краешек кресла, немного хмурясь спросила Лара своим звучным, низким голосом.

Дмитрий неопределенно пожал плечами, как бы давая понять, что говорить можно о чем угодно, все равно о чем. Чувствуя запах пачули, всякий раз ее сопровождавший, он испытывал огромное облегчение от того, что снова видит ее, она же, в свою очередь, разглядывала его не менее заинтересованно, хотя и не так профессионально.

– Я ждал этого целую неделю, – с ужасом услышал он эти нелепые, неуместные, но зато очень правдивые слова, которые кто-то произнес его хриплым, но уверенным голосом. «Еще немного и у меня потекут слюни от умиления. Что

же делать-то? Защищать интересы профессии или свои собственные? Но иногда поступить неправильно – это еще не значит ошибиться». Было в этой женщине что-то, что подчеркивало все строго предписанные этические нормы.

– Мне казалось, потребуется много месяцев, чтобы обо всем рассказать, Дмитрий, однако я чувствую, что говорить как будто и не о чем. Это странно, правда?

– Ничуть. Может быть, что-то мешает вам говорить, Ларя? – в работе с ней он пытался быть максимально механистичным, но выходило плохо, эмоции прорывались наружу, и ему казалось, что она без труда читает их на его лице.

– Вы мне мешаете, – довольно откровенно и неожиданно произнесла она, отчего повергла Дмитрия в смятение, и его ладони мгновенно увлажнились...

\* \* \*

Если говорить о самой Ларисе Эдлин, то она, войдя в психотерапевтический кабинет, впервые в жизни с первого же взгляда влюбилась в мужчину, к которому пришла на прием. От неожиданности она густо покраснела и представилась Ларой, хотя, на самом деле, этим именем ее никто и никогда не называл. С самого детства, с тех пор как себя помнила, она была Ларисой, и опять же с самого детства ненавидела свое имя. Просто ей не повезло, не повезло и все. Когда она была совсем маленькой девочкой, на экраны вышел довольно

милый, вполне безобидный мультик, правда, с небольшим «но». Это «но» – одного из персонажей звали Лариска-Крыска. И все! И все рухнуло разом. И с этого момента мало кто из детей обращался к ней иначе. Вот такой вполне безобидный, но непростительный промах создателей детских мультфильмов. Судя по всему, никому из этих взрослых мужчин и женщин не пришло в голову, что это некрасиво, вероломно, оскорбительно по отношению к тем малышам, кому выпало быть нареченными именем Лариса. И никто из этих, с позволения сказать, деятелей культуры, не предвидел незамедлительных последствий их довольно невинной, беспечной шутки. Жаль, что никто вовремя не спохватился и не задумался о детских муках, вызванных жестокими, непрекращающимися насмешками сверстников, тех самых сверстников, которых спровоцировали на подобное поведение именно они – те самые взрослые «творцы добра».

Подрастая, прочитав и перечитав Островского, Лариса немного успокоилась, она перестала себя чувствовать неврастеничкой, и уж совсем приободрилась, прочтя Пастернака. Ее боль сначала улеглась, утихла, а со временем и вообще рассеялась. Но какая-то маленькая заноза с отравленным невидимым наконечником в душе все-таки осталась. Имени своего Лариса более не стеснялась, оно не приносило ей неудобств, она вдруг стала к нему равнодушна, однако полюбить его она так и не смогла.

Войдя в кабинет модного мозгоправа, Лариса сильно сму-

тилась, – то ли от того, что доктор был слишком молод и невероятно красив, то ли от того, что на ней было надето привычное серое пончо, с которым она буквально срослась за последние несколько лет, и снимала исключительно для стирки. Словом, Лариса без всякой предварительной подготовки, не моргнув глазом назвала себя так, как ей давным-давно хотелось, – Ларой. Таким образом, она как бы спряталась за русскую литературу как за некую защитную броню, как за гранитную кладку, пробить которую вряд ли кому под силу.

Зачем она пришла сюда, она и сама не знала. Просто пришла и все, без всякой определенной цели. Но потом ей понравилось бывать здесь, в этой клинике, и рассказывать обо всем, что было в ее жизни. И она стала приходить сюда, чтобы разговаривать. Она говорила о детях, от которых отказалась еще в ранней юности, неудачно сделав аборт, а потом отказалась от самой идеи иметь детей, однажды взяв и приняв решение не приводить их в этот трудный мир, совершенно непригодный для жизни. Немного рассказала и о том, что работает в музее экскурсоводом и что любит свою работу. Много говорила о муже-нарциссе, с которым прожила всю жизнь, говорила о том, что превозносила этого самого мужа, а делала это, потому что он на этом настаивал. Как она подчинялась ему, живя по его правилам, а своими собственными так и не удосужилась обзавестись. Еще говорила о ночах, проведенных по большей части под прохладно-суч-

ным покровом целомудрия, хотя физическая сторона любви и прежде не вызывала в ней особого энтузиазма. Когда-то Лариса была восхитительно-красивой женщиной. Но, увы, время – это скоростная трасса, которая быстро избавляет не только от красоты. Иногда на смену красоте приходит грация, иногда уверенность или блестящая карьера, а иногда... То, что красота ушла, она знала давно, но предпочитала об этом не думать, ибо в ее случае на смену красоте пришла пустота. Со старыми друзьями она отношений не поддерживала, потому что стеснялась себя. Или стеснялась их. Намного лучше чувствовала себя с новыми знакомыми или с гостями музея – туристами, ведь они не знали, какой она была прежде. Общение с незнакомыми людьми несколько снижало ее растерянность по поводу внезапно обрушившегося возраста, который каждый день неприятной правдой отражался в зеркале. До недавних пор она получала комплименты и от мужчин, и от женщин, но они были по большей части дежурные, продиктованные милосердной снисходительностью, правилами хорошего тона, условностями этикета, а вовсе не искренними порывами сердца. Все это хорошо читалось по их холодно-мерцающим, равнодушным взглядам. А с некоторых пор и дежурные комплименты стали большой редкостью. Так она рассказывала и рассказывала до тех пор, пока, наконец, не дошла до серого пончо. В нем однажды она нашла свое утешение, убежище, укрытие, в котором удалось уединиться, спрятаться от всех, а заодно и себя самой.

Она видела, как этот смазливый, приглаженный юнец – настолько безупречный, что не к чему придраться, – всегда внимательно слушает, никогда не прерывает, говорит крайне редко, но зато сосредоточенно, при этом не отрываясь смотрит на ее тонкое заостренное лицо. Она старалась не принимать этот внимательный взгляд на свой счет, – просто человек делает свою работу, и делает ее хорошо, просто он так зарабатывает себе на жизнь. Вот и все. А его интерес к ней – это обычный рабочий профессионализм и не более того. Тем не менее Ларисе было очень приятно, что кто-то ее еще разглядывает, кто-то слушает, кто-то ею интересуется, пусть даже формально. Ларисе не нравились мужчины с обостренной тягой к респектабельности, она была сыта по горло своим галантерейно-напомаженным мужем, но доктору она сразу же простила эту маленькую оплошность. От доктора исходила ощутимая волна тепла и симпатии, которой он, кажется, немного стеснялся, а может быть, ей так только казалось со стороны. Она наблюдала за ним. Не только доктор наблюдает пациента, но и, наоборот, пациент доктора. И совершенно точно, что он сдерживал в себе что-то, не выпускал наружу что-то такое, в чем боялся сам себе признаться, то и дело подергивая ногой в мягкой дорогой лакированной туфле. Интуитивно Лариса это чувствовала.

«Мужчины не так сентиментальны, как хотят выглядеть в глазах женщин, – говорила сама себе Лариса. – Боже ты мой, что такое я несу, я окончательно рехнулась? – с испугом

она спрашивала себя, – он ведь не мужчина, а я никакая не женщина. Он доктор, а я пациент, без всяких там мечтательностей и снисхождений». Еще она думала, что он, Дмитрий, знает о ней все или почти все, а она о нем не знает ничего – ни о его жизни, ни о его прошлом, ни о его будущем. Совсем ничего, за исключением того, что он имеет жену красавицу и счастлив в браке. Она не знала были ли в его жизни вольности, затенявшие блеск его имени, но сейчас он был безупречен. «Он ведь работает, ему не положено на работе, с ним нельзя крутить романы на работе, да и вообще, нигде нельзя крутить романы. Какого дьявола! Есть в этой жизни хоть маленький закуток, куда не забрался этот ихний Фрейд?»

«Впрочем, – в следующий момент рассуждала она, – чтобы любить человека совсем не обязательно знать о нем много. А еще лучше – вообще ничего не знать». Но хуже всего не то, что она почти в него влюбилась, а то, что после всех этих «посиделок» – так она про себя называла приемы в клинике, – в ней стало расти какое-то странное наваждение. Чем больше она привязывалась к этому доктору, а она к нему в самом деле привязывалась, тем сильнее было ощущение какой-то неминуемой перемены – не беды, а именно перемены. Лариса стала ловить себя на мысли, что хочет ему понравиться, причем не как удобная пациентка, с которой приятно работать, а именно как женщина. Да, как женщина, каким бы абсурдным ей самой не казалось это ее полуосознанное желание. Лариса даже насмеялась над этой своей обычной

склонностью к мечтательности. «Судя по всему, – не без сарказма говорила себе Лариса, – богиня разума не проявила в отношении меня должной щедрости. Как жаль, как жаль. Это было бы более чем кстати».

\* \* \*

Детей у Ларисы не было, и никогда уже не будет. Когда-то в далекой сентиментальной юности, в юности, лишенной всякого опыта и здравого смысла, насквозь пропитанной романтикой и доверием, в юности, где все мечты красивы, у нее были восхитительно-целомудренные встречи ранней весной в парке на лавочке с самым любящим, самым верным, самым преданным, словом, самым необыкновенным юношей на свете. Очень скоро весенняя целомудренная лавочка сменилась на уверенные объятия в тени июньской сирени, далее последовали обжигающие длинные ночи под сияние луны у него на даче, правда, почему-то тайком, в отсутствие его родителей. А потом с ней случилось легкое головокружение, тошнота, задержка, волнение, трогательное сообщение возлюбленному, и, само собой разумеется, ожидание предложения руки и сердца. Однако, предложения от самого любящего и преданного почему-то не последовало, наоборот, воцарилась тягостная тишина, а его домашний телефон хладнокровно отзывался лишь длинными механическими гудками. Дальше что? Дальше были слезы, страх, рас-

терянность, одиночество, дальше было пугающее своей откровенной конструкцией ледяное акушерское кресло, внутривенный наркоз, спасительный провал в сознании, потом белая стерильная больничная палата, отвратительная кровь на простынях, снова мучительный страх, снова слезы, чувство вины, снова одиночество, растерянность, сознание того, что ничего уже не вернуть, и так по кругу, и так до бесконечности. Ее убийственно слабая душа временами ускользала от нее. Ее душа, запутавшаяся, затерявшаяся в той самой июньской сирени, была совершенно не способна противостоять случившемуся. Что было потом Лариса плохо помнила, кроме разъедающей внутренности покорности судьбе, кроме пустоты и боли в безвоздушном пространстве как будто ничего и не было. Потом... потом, почти через шесть лет, в ее жизни появился ее будущий муж...

Этот самый муж – Владимир Александрович Эдлин был врачом-ортопедом. К тому времени он уже имел двоих взрослых детей от предыдущего брака и еще одну девочку, которую когда-то прижил с медсестрой во время их совместной работы в поликлинике. Девочку эту он никогда в глаза не видел, денег на ее содержание не выделял, потому как считал ее появление на свет исключительно капризом взбалмошной медсестры, а он, Эдлин Владимир Александрович, имел к этой краткосрочной любовной истории отношение самое что ни на есть посредственное (и это истинный факт). Однако он

хорошо помнил о существовании девочки по имени Влада, которое определенно льстило его самолюбию. Впрочем, Владимир Александрович несколько путался в возрасте ребенка – то ли ей тринадцать, то ли четырнадцать лет – не помнил. Что поделать – всякое бывает. Отвращения или презрения к себе по этому поводу он не испытывал, скорее наоборот, считал себя невольной жертвой, по неосмотрительности и простодушию угодившей в неприятный женский капкан, так искусно расставленный очередной «самкой-завоевательницей», как он называл почти всех женщин. Иногда, прилично подвыпив, он любил перед неважно каким слушателем разыгрывать роль обиженного женщинами простачка, делая невинными свои обыкновенно насмешливо-порочные глаза. Он зачем-то начинал жаловаться, откровенничать, сообщая собеседнику такие подробности своей закулисной жизни, без которых вполне можно было бы и обойтись.

Бывшая жена – красавица, рассудительная и самостоятельная, хирург-кардиолог – с ним особо не церемонилась, и очень скоро выдворила Владимира Александровича вон из совместного жилища за его плохое поведение, а именно, за чрезмерное увлечение всевозможными юбками всех цветов, размеров, фасонов, национальностей и возрастов. Оказавшись на свободе Владимир Александрович какое-то время радовался своему внезапному освобождению, бросаясь от безбрежного пьянства к строжайшим омолаживающим диетам и услугам косметологов, от дурных женщин к непороч-

ным девам, а в перерывах – к полному монашескому воздержанию, но рассудок никогда не терял и от своих привычек никогда не отказывался. Так он прожил лет пять в беспорядочном самодурстве и праздности, пока не встретил одинокую и скромную, хорошо воспитанную Ларису Мотлохову, прельстившись то ли ее тогдашней красотой, то ли отсутствием детей, то ли отсутствием у нее каких бы то ни было притязаний на свой счет. Он и сам толком не знал зачем еще раз женился, – женился, да и все тут. Об обоюдной любви у супругов речь, разумеется, не шла, ни со стороны мужа, ни со стороны жены. При всем при том брак выглядел вполне удачным, если не сказать счастливым. Пил Владимир Александрович много, но запойным никогда не был. Лариса в силу своего характера, темперамента и пережитой трагедии, его безобразий никогда не стесняла, а он в свой черед иногда вспоминал о ее существовании и щедро одаривал своим вниманием, даже несмотря на то, что она никогда не будоражила его познавшие мир чресла.

После кровавого краха своей первой юношеской любви Лариса была не особо общительной девушкой, а после замужества и вовсе стала сторониться людей. И не то чтобы Владимир Александрович своим непримерным поведением отбил у нее всякую веру в человека, нет, скорее ее замкнутость относилась к некоему свойству натуры, пережившей тяжелейшую трагедию, а он, со своей стороны, лишь закрепил эту ее особенность.

К пятидесяти пяти годам Владимир Александрович Эдлин пришел довольно обрюзгшим с солидным жирненьким животиком, с внушительными залысынами на голове, с овальными выпуклыми мешочками под крохотными голубыми насмехающимися глазками, а также с округлым, откровенно свисающим с лица, подбородком под пухлыми силиконовыми девичьими губками. Весь его блудливый облик слишком красноречиво рассказывал и о его прожитой жизни, и о его разгульной плотоядности, но увидеть это могли лишь те, кто умеет читать по лицам, а Лариса Мотлохова, увы, была в этом смысле более чем неискушенной. Надо сказать, что сам Владимир Александрович оставался исключительно доволен собой, потому что по-прежнему, а то и с удвоенной силой, нравился молодым и красивым женщинам. Стоит ли говорить, что и они его интересовали не меньше прежнего. И когда Владимир Александрович Эдлин видел перед собой хорошенькую женщину, его маленькие похотливые глазки все еще загорались тем огоньком, которым воспламенялись глаза давно потасканного вампира, чувствующего на своих пухлых старческих губах вкус молодой свежей крови.

А скромная и, несмотря на свою предыдущую историю, совершенно неопытная в амурных делах Лариса Мотлохова, познакомившись с обворожительным, ослепительным, преуспевающим врачом-ортопедом, не заметила в нем ни вульгарности, ни распутности, ни нарциссизма, словом, ничего

такого дурного, глубоко в нем проросшего и дающего определенные плоды. Своими чистыми глазами она видела в нем лишь то, что хотела видеть, лишь то, что примечают все молоденькие женщины в своих мужчинах, а именно, те несущие качества, которыми сами же этих мужчин и наделили. А еще она видела, то что он сам ей показывал, а он, разумеется, всем своим существом демонстрировал все самое-самое лучшее. Она улавливала в нем какой-то соблазнительный шарм, который делал его особенным, не таким, как все. Этот самый шарм и завораживал, и притягивал, и манил сладостным обещанием сделать ее, Ларису, такой же особенной, как и он сам. Для Ларисы это был чудесный безоблачный роман, и ее голова прямо-таки одурманилась ощущением, что она избранная и никак не меньше. Разумеется, избранная, раз такой необыкновенный мужчина обратил на нее внимание.

На заре их встреч он соответствовал всем ее ожиданиям. Владимир Александрович показывал все свои умения и демонстрации эти устраивал как будто невзначай. И как он играет на флейте и фортепиано, и как свободно изъясняется на нескольких языках, и какой он непревзойденный ас в современной ортопедии. Словом, он вел себя так, как будто пытался убедить Ларису, что она выбрала «самого лучшего». И, само собой разумеется, убедил.

«За кого мы выходим замуж? – в раздумьях спрашивала себя Лариса. – Иногда мы выходим не за тех, кого любим,

а за тех, кто позовет. А уж потом пытаемся их полюбить. У кого-то получается, у кого-то не очень. Тут уж как повезет. Жизнь любит над нами подшучивать, и эти самые шуточки – наша большая трагедия».

Правда, перед самой свадьбой у них случился любопытный инцидент. Они разошлись во мнении относительно свадебных туфель для невесты. За несколько недель до церемонии Лариса поехала в модный магазин и купила белые лаковые лодочки на небольшом каблучке, именно те, которые ей сразу приглянулись. Она была исключительно довольна своим выбором, разглядывая счастливое отражение в потертом домашнем трюмо, и гордо притопывала ножкой.

– Ты собираешься пойти на свадьбу в этом? – как-то странно воскликнул будущий супруг.

– Да, а что? Разве тебе не нравится?

– Но ведь это совсем не то! Я представлял тебя на высоких шпильках и платформе!

– Ну что ты, Володенька, шпилька и платформа – это же очень неудобно. Я не смогу на них продержаться долго. У меня заболят ноги.

– Ничего, потерпишь, – резко сказал избранник, – зато будешь самой красивой.

Тут Лариса немного растерялась, она-то, по наивности, полагала, что невеста в глазах жениха и так самая красивая, и неважно в каких она туфлях или вовсе без них. Она лишь грустно улыбнулась. Кроме того, она и так была довольно вы-

сокой девушкой, и в юности даже играла в баскетбол. Иногда Ларисе приходилось откровенно стесняться своего роста, и ее обувь по большей части состояла из плоских туфелек-«балеток», и потому ее ноги совершенно не привыкли к сложному, если не сказать вульгарному, нагромождению типа «шоу-шуз». Поэтому Лариса стиснула зубы и сквозь них настойчиво процедила:

– А мне нравятся эти.

На какое-то время они перестали разговаривать. Тогда Лариса не слишком придавала этому значения и почему-то списала это на заботу или на участие жениха. Ей даже сделалось довольно приятно от того, что он так внимателен к разного рода мелочам, имеющим к ней отношение. Посему она покорно подчинилась, и ее наряд невесты дополнили именно те туфли, что выбрал жених. Да, она надела именно те туфли, которые мучили, давили и стесняли ее ноги весь нескончаемо долгий свадебный день.

И лишь потом, спустя какое-то время, до нее дошел смысл этого с виду маленького происшествия. Дело в том, что Владимир Александрович был устроен особенным образом, впрочем, как и все себялюбцы. В его словах и в его поведении всегда читалось примерно одно и то же, а именно, важность его чувств и его же желаний. Он – и только он – всегда должен получать именно то, что хочет. Такие понятия, как взаимность и уступчивость, в его скудном арсенале напрочь отсутствовали, а Лариса, как и многие люди, существовала

только для того, чтобы во всем соглашаться с ним, подчиняться ему и восхищаться им. А иначе просто и быть не могло, ибо Владимир Александрович искренне считал себя уникальным человеком. Она должна была говорить лишь о том, что его интересует, исполнять любое его желание, и он искренне считал, что имеет право распоряжаться ею по своему усмотрению, ибо, нет никаких сомнений, он – венец совершенства. Нельзя не сказать и о том, что законное ложе быстро прискучило Владимиру Александровичу, и он вернулся к прежнему беспутному образу жизни. Лариса тут же почувствовала запах лжи в их отношениях, вкус обмана и равнодушия, тщательно замаскированные приторной вежливостью ее распрекрасного супруга. Почувствовать-то почувствовала, а что делать не знала. Ей было довольно противно и больно, она и думать не думала, и представить себе не могла, что ее супруг – слабое существо мужского пола, при этом тщеславное, да еще и всю жизнь грешившее глупостью.

– Прости меня, мой ангелочек, – довольно часто в подпитии восклицал супруг, – я смущаю тебя. Но должен же я, как честный муж, перед тобой отчитаться, должен покаяться. Знаешь, душа моя, я не хочу прослыть лжецом. Так ты послушай, послушай...

И Лариса внимательно слушала Владимира Александровича, не говоря ни слова, но при этом смотрела на него с некоторым сожалением, то есть так, как смотрят на душевнобольных, чью речь нельзя прерывать, чтобы их не расстра-

ивать. Внешне она была спокойна, и всем своим видом показывала, что не хочет быть ему судьей, что не имеет на это права. Даже в такие мгновения, когда ей было и грустно и тошно от его ненужных щекотливых откровенностей.

– Ой, ты покраснела, – восклицал Владимир Александрович, и глаза его приобретали самое невинное выражение, – ну ничего. Я раньше и сам, признаться, смущался от самого себя, а потом привык и более не краснею, и не смущаюсь. И ты привыкнешь.

В целом Владимир Александрович был доволен своей супругой. Она не умела хитрить, как современное женское племя, не читала гламурных статей, изобилующих советами как понравиться, да как заставить себя полюбить. В ней не было жесткой расчетливости, она была чиста и естественна, как сама природа, как музейный шедевр, как весенние птицы, которые никогда не переодеваются, не прихорашиваются, никого из себя не строят, однако ж все их любят и все ими восхищаются.

Так Лариса, теперь уже взрослая женщина Лариса Эдлин, получила второй урок практической любви. Однако пороки Владимира Александровича к ней почему-то не пристали, даже когда он в порыве пьяной чувствительности выполнял мужские обязанности, как бы неприятно ей это не было, она все равно оставалась незапятнанной. У Ларисы никогда не возникало желания отомстить, завести любовника, сделать больно мужу. К ней ничто не приставало, не прилипало, –

словом, пороки мужа ее не коснулись, и жизнь, как это ни странно, ее не ожесточила.

\* \* \*

Валевский замер на мгновение, как зачарованный. Унылое серое пончо недвусмысленно сменило темно-синее шелковое платье с длинным, продольным рядом крохотных шелковых пуговиц в области лифа. Никогда еще Лара не была столь обворожительна. Ее насмешливые глаза, глядя на него, искрились, сегодня ей нельзя было дать больше тридцати пяти. Дмитрию было трудно сдержать восхищение, и он, указав ей на кресло, нарочно отвернулся и принялся перебирать какие-то бумаги, лежащие ворохом на столе. При виде ее огонь его решительности мгновенно потух.

– Располагайтесь, прошу вас.

– Начну сразу с главного, – заговорила она, – сегодня я уезжаю, и эта встреча последняя.

– Как? – спросил он таким удевленно-неприятным тоном, что сам себе удивляясь.

– Мы с мужем уезжаем. Уезжаем надолго, и я вам признательна за то внимание, которое вы мне уделили в течение этих нескольких месяцев, – скороговоркой, с деланной уверенностью, выпалила Лариса. Она понимала, что эта ее карикатурная уверенность, ее самостоятельность, скроенная на скорую руку и сшитая на живую нитку, улетучится, как

только она закроет дверь его кабинета с другой стороны. И очень скоро ей придется заново облачиться в серое пончо, от которого она, судя по всему, избавилась несколько преждевременно.

Валевский почувствовал собственную беспомощность, еще он понял, что все обрывается, от этого его лицо приобрело сердито-обиженное выражение. «Что я буду делать, если она действительно уедет?» – спросил внутренний голос Валевского. Его сердце глупо и жалобно заныло, заскулило, как маленький несмышленный котенок, которого собрался бросить на произвол судьбы хозяин.

– Лара, вы ведь знаете, что ничего хорошего в этой совместной семейной поездке вас не ждет.

– Да, знаю, но пытаюсь делать вид, что не знаю, – она отозвалась с тревожным смущением.

– Вам нравятся неудачи?

Она молчала, стараясь избежать его взгляда. Ее наспех спланированное бегство руководствовалось, конечно же, не жадной собственными неудач, а попыткой оградить от возможных неприятностей его, Дмитрия Валевского. Он сделался ей дорог, и не просто дорог. Однако, озвучивать это она не стала, не желая выглядеть матерью Терезой.

С того дня, когда она впервые увидела его, она испытала нечто странное: привычная размытость мыслей, стертость чувств как будто отступили, Лариса ощутила в себе то, что казалось утраченным навсегда: она вновь почувствовала лег-

кие приливы и отливы в своем дыхании, но не беспокойные, как у тяжелобольного, а радостно-волнующие. Она вспомнила, что у нее есть тело с руками и ногами, есть глаза, способные видеть тончайшие розовые прожилки в высоком небе, почувствовала, что у нее есть губы, способные ожидать поцелуй мужчины. Чувство черной пустоты вместе с вынужденной покорностью судьбе как будто исчезло. Неожиданно для нее самой весь черный мрак, окружавший ее долгое время, словно по волшебству, сменился белыми облаками мечты. Оказывается, и на сухой земле могут прорасти сады надежды.

Жизнь не создается один раз и навсегда. Жизнь – это череда перемен: плавных и внезапных, запланированных и спонтанных, скорбных и восхитительных. И эти перемены происходят с нами на протяжении всей жизни. И еще ей показалось, что прошлое больше не существует в ее настоящем, не появится оно и в будущем. Да, изменить содержание прошлого никак нельзя, но, выходит, можно изменить его значение. И она его изменила! Теперь все неважно! Теперь главное – ОН!

– Зачем же вы пришли?

– Мне хотелось еще раз на вас посмотреть.

«Если все закончится, так и не начавшись? – Второпях рассуждал Валевский. – Если все закончится, так и не начавшись... – я буду только рад». Он тут же мысленно одернул себя, потому что это его «буду только рад» не было даже сла-

бым отблеском реальности. «Какой же я лицемер, я лицемер и трус», – заключил про себя Валевский.

\* \* \*

Что же будет дальше? – спросила Лара, натягивая на себя простыню, готовая провалиться сквозь землю после неудачи, постигшей их любовную схватку, несмотря на тщету всех усилий. Впрочем, схватка была не такая уж неистовая, совсем не похожая на те многообещающие, пылкие взгляды, которыми опалял ее Валевский, прежде чем она согласилась пойти с ним в этот довольно шикарный отель. Может быть она слишком быстро согласилась? Но ведь она и сама этого хотела. Лариса с умилением вспомнила, как полтора часа назад он распахнул перед ней дверцу своей машины, и, когда она отказалась в нее сесть, он шутливо обронил: «Вам не нравятся „ауди“? Вы предпочитаете более непритязательное транспортное средство, или наоборот?» Полтора часа назад уверенности ему было не занимать. А сейчас? Она почему-то чувствовала, что все случилось именно так исключительно по ее вине. Это она – одинокое засохшее деревце, поливать которое уже нет никакого смысла. Ведь невозможно влезть в душу к другому человеку и понять, что там происходит. Как правило, мы видим лишь то, что нам показывают, и не догадываемся о сокрытом. Она знала лишь о своих чувствах, и ей казалось, в ее возрасте этого более чем достаточ-

но. Еще ей было известно, что на некотором расстоянии она все еще довольно обворожительна, но если подойти вплотную, то паутинка мелких морщинок, как подробная географическая карта, видна слишком отчетливо, и это прискорбно. Возможно, в этом все дело. В таком случае – очень жаль. Очень жаль... Ведь у него возмутительно красивые глаза, сулящие столько счастья!

Кроме того, Лариса была хорошо осведомлена о недопустимости никаких личных контактов, кроме собственно терапевтических, с врачами-психотерапевтами, и чтобы не портить себе жизнь она должна была бы придерживаться этого «табу». Должна была бы... но... Она провела всю жизнь под охраной строгих «табу» в виде всевозможных моральных и этических норм. Она не допускала в свою жизнь никаких вольностей, стараясь не испортить ее, она старалась жить правильно, и тем не менее, правда, непонятно пока в чем, все-таки ее испортила. Так что уж теперь посыпать голову пеплом. Одной болью больше, одной болью меньше – какая разница.

– А дальше видно будет, – буркнул потерпевший полное фиаско Валевский. Он был весь в испарине, пристыженный, и еще до конца не понимающий, почему он здесь, как он здесь оказался, да еще в таком, мягко говоря, ненадлежащем виде.

– Мы с тобой... – он запнулся, потому что «ты» еще не сделалось привычным, а «вы» было уже как-то не совсем

уместно, – Лара, у меня сейчас нет ответа на этот вопрос. Прости меня.

Она деликатно промолчала, поспешно кивая головой. Он видел, что она просто-напросто дает ему возможность прийти в себя, собраться с мыслями, и был за это ей благодарен. Валевский хотел еще что-то сказать, но все заготовленные слова вылетели из его головы, как будто стая перепуганных птиц, и голова эта оказалась пустой.

– Ты раздражен? – спросила Лариса.

– Я? С чего бы это мне раздражаться? У меня нет ни малейшего повода для раздражения, – с небольшой порцией яда отозвался Валевский.

«Как по-идиотски все вышло, – тяжело думал про себя Валевский. – Да, неутомимость в постели – это, безусловно, козырная карта для мужчин, что и говорить. Но я-то ею обладал как-то уж не слишком долго, этот козырь покинул меня без времени». Дмитрий тяжело вздохнул, ибо, как игрок, у которого нет козырей, он оказался в несколько неловком положении. Дмитрий еще отлично помнил то ощущение победителя, которое обеспечивает эта карта, а потому продолжал вести себя так, словно, она все еще у него на руках. Видимо, поэтому он и ввел и себя и понравившуюся женщину в затруднительное положение. Зачем он вообще привел ее сюда? Что за горячая волна ударила ему в голову? Он что – умом тронулся? Правда, полтора часа назад он так не считал, всего лишь полтора часа назад это казалось ему неизбеж-

ным. Неизбежно... Какое принудительное слово, есть в нем какая-то фатальность. А неизбежного, как говорится, нельзя избегать слишком долго. Неизбежно.

Он уже чувствовал в воздухе запах скандала: и профессионального, и семейного. И черт с ним! Чего ему опасаться-то? Хуже, чем ему было, уже не будет. Ну вот, прожил он, Дмитрий Михайлович Валевский, самую что ни на есть праведную жизнь, ну не мучается он приступами больной совести за прошлое беспутство (не слишком большой дивиденд), зато слишком часто у него возникало чувство поражения. А что же жребий? И что же этот многообещающий, но лживый любовник, такой желанный и такой неверный, манящий нас на самую вершину и ускользающий из-под носа, едва нам удастся ее достичь.

– Что такое жребий? – неожиданно для самого себя спросил он Ларису.

– Жребий? Почему ты спрашиваешь?

– Просто так, – замялся Валевский.

– Скорее всего, это то, что тебе выпало.

«Какое странное слово, – задумалась Лариса, – какое-то астральное, провидческое нечто, витающее вокруг людских голов и раздающее судьбы. В простом, казалось бы, слове, есть что-то, вызывающее опасение. И почему он об этом спрашивает именно сейчас?»

– Лара, а в чем, по-твоему, лучший жребий, прекрасный жребий? – не унимался Валевский.

– Нет ничего лучше, чем любить того, кто любит тебя, – как-то просто сказала она.

– Неужели? И это все? Это что же, по-твоему, жребий лучший из лучших?

– По-моему, да, – сухо парировала она. – Но, правда, я особо не блещу изворотливостью ума, так что ты меня не слушай. А у тебя есть иные идеи на этот счет?

– В общем-то, нет, но я не думал, что все так банально просто, что все так безобидно. До того просто, что такая простота слишком пугает.

– Почему пугает?

«Ах, Лара, Лара! – буквально воскликнул про себя Валевский. – Ведь если бы людям не импонировали побрякушки в виде профессиональных и еще черт знает каких регалий, то они и не бряцали бы ими на каждом шагу, и не лезли бы из кожи вон с этими своими регалиями-то, мать их». Он хотел было сказать, что несколько иначе видел, несколько по-другому представлял себе этот самый лучший жребий, что бессознательно всю жизнь пытался выполнить некое материнское предписание, но решил промолчать. Он не думал о простом: что счастье – это любить, счастье – это дышать или слышать любимый голос, – он вообще не рассматривал понятие «лучшего жребия» в этой плоскости. Впрочем, Лара – женщина, и она, скорее всего, сейчас привела вариант лучшего женского жребия, у мужчин же он, разумеется, выглядит иначе. Вот только как? Как выглядит мужской вариант?

– Лара, а как твоя девичья фамилия?

– Мне казалось, что наши долгие беседы завершены. Разве ты не закончил с вопросами? Разве мы недостаточно разговаривали? – спросила Лариса, а про себя, не без грусти, подумала: «Судя по всему, этот красавчик относится к той породе мужчин, у которых речь развита гораздо лучше, чем мужские способности».

Он горько усмехнулся. «Да, женщины хотят, чтобы ими владели, дорожили, чтобы их держали, чтобы с ними занимались любовью, а не разговорами. Выходит, – уже довольно хладнокровно подумал Валевский, – я способен лишь на то, чтобы разговоры разговаривать, да еще время от времени пописывать всякую там научную и ненаучную дребедень. Ну что же? Открытие не очень симпатичное, зато хорошо согласуется с моей реальностью. Остается только добавить, что все это я делаю по призванию. Да, по призванию, можно сказать и так, если решил в очередной раз себя обмануть. В таком случае призвание – это прескучнейшая вещь на свете, заставляющая человека изо дня в день делать одно и то же, одно и то же. Вещь, способная довести не только до интеллектуального самоубийства, но и до мужского бессилия. И, кажется, чего греха таить, все это со мной уже произошло».

– Моя фамилия Мотлохова, – сказала Лариса.

– Мотлохова, – повторил Валевский. – Она тебе подходит больше, чем Эдлин.

– Спасибо, – тихо ответила Лариса.

– Я тебя разочаровал? – зачем-то спросил он. «Зачем вообще мужчины задают такие вопросы? – Тут же довольно ехидно поинтересовался его внутренний голос. – Это что за нелепейшая комедия? Мужчины это делают, вероятно, из чисто потребительского эгоизма, вероятно, для того чтобы растерянная неудовлетворенная женщина, позабыв о своих собственных переживаниях и неудобствах, тут же переключилась, принялась выдавать успокоительные мужские пилюли, занялась утирианием наводящих скуку мужских соплей. Да, женщины любят изображать из себя сестер милосердия, и мужчины, отлично об этом зная, сплошь и рядом этим пользуются».

– Со мной все в порядке, все в порядке, – соврала она, а про себя саркастично продолжила: «Со мной все в порядке, все, кроме моих сорока двух лет. Да, я прекрасно выгляжу, особенно после того, как избавилась от серого пончо, как от жабьей кожи. Но это, по сути, ничего не меняет. Возраст кровеносных сосудов, как правило, равняется возрасту, записанному в паспорте, и мои волосы уже успела покрыть бело-синяя тень, как это случается с наступлением сумерек. А мужчина, приводивший меня в восхищение, годен лишь для разговоров. Я давно отвыкла чувствовать себя желанной. И если не брать в расчет перечисленные досадные мелочи, то со мной все очень даже в порядке».

– У тебя великолепные волосы, – тихо заговорила Лара, видимо решив попытаться взять вожжи в свои руки, – они

цвета мускатного ореха.

Она осторожно, почти целомудренно провела рукой по его голове, словно, они еще не были в объятиях друг друга, словно, это было их самое первое робкое прикосновение.

– А мускатный орех – это как? Это хорошо или плохо? – зачем-то спросил Валевский.

– Это восхитительно.

После этих слов он неожиданно почувствовал себя успокоенно-безмятежным, как будто никакого краха и не было, и их любовному безумию еще только суждено случиться. Никогда и ничего, похожего на твердость духа, в подобных ситуациях за ним не водилось, но сейчас он сделался необыкновенно уверенным в своих силах. Он повернулся и взглянул на ее улыбающееся лицо, коснулся губами линии скул, затем гладкой шеи, и нежно шепнул:

– Спасибо. Мне давно никто не говорил, какого цвета у меня волосы, я и сам об этом позабыл.

– А еще у тебя очень красивые и умные глаза.

– О-о-о, мои красивые глаза, – лукаво усмехнулся Валевский, медленно склоняясь над женщиной со сладким запахом пачули, – только с виду умные, а на самом деле...

\* \* \*

Лариса Мотлохова-Эдлин возвращалась домой после этого странно затянувшегося свидания. Луна, пробиваясь

сквозь плотные облака, окропила каплями холодного света темные старые деревья. Лариса шла одна пустынной улицей в ночной тишине, где-то совсем рядом жутко кричали какие-то невидимые страшные птицы, откровенно пугая ее. И было в этом крике что-то мучительно-хриплое, что-то любовно-блаженное и вместе с тем что-то слишком бессознательное. Должно быть от страха Ларисе казалось, что было в этом крике что-то мистическое, как если бы ожили полотна Босха. Ведь если бы они действительно ожили, то непременно издавали бы подобные отвратительные звуки. Птичий крик, как в хроматической гамме, поднимался до ужасно пронзительного вопля и тут же опускался вниз. Сейчас Ларисе чудилось какое-то гибельное предзнаменование, какая-то ересь, неприятно щекотавшая ей нервы. Словно, это был не крик безобидных уличных птиц, а настоящие сакральные любовные игрища жутких чудовищ, демонически хохочущих и ревущих, игрища, уводящие в бездну, в ничто. «Так, наверно, кричат адские твари перед совокуплением», – сверкнула более чем странная мысль в голове у Ларисы. Ее поражала темнота, дышащая страстью во время этого дьявольского концерта. Или все это ей только привиделось со страху? Она не была человеком религиозным, но тем не менее с опаской стала озираться по сторонам и заметно прибавила шаг.

Добравшись до зеркала в ванной комнате и взглянув в него, она обнаружила там изящную, немного растерянную

меланхоличную женщину, бледную, как на полотнах Ван Дейка, женщину, которой едва перевалило за сорок или около того. Ее матовое лицо, ее песочного цвета глаза дышали удивительным, доселе неведомым покоем. Увидев это выражение на своем лице, Лариса смутилась и даже слегка покраснела. Прожив много лет в законном браке без любви, Лариса Эдлин не питала особого интереса к физической стороне жизни: может быть, по причине отсутствия этой самой любви, а может, и по природной своей холодности. Так, во всяком случае, она считала до сегодняшнего дня. И именно до сегодняшнего дня Лариса уж никак не причисляла себя к фривольным женщинам, находящимся во власти инстинктов. Ни в коем случае. В то же самое время она ни коим образом не осуждала адюльтеры, да и его участников, – просто к ней это все не имело ни малейшего отношения. Словно подобные казусы могли происходить исключительно в параллельном мире, до которого ей не было ни малейшего дела. Пропущенная в детстве через жернова хорошего воспитания, она считала непозволительной вульгарностью для замужней женщины привлекать к себе внимание посторонних мужчин.

То, что произошло сегодня, заставило ее самым решительным образом пошатнуть все сложившиеся убеждения относительно собственного внутреннего устройства. Много лет она чуждалась крепкой настойки из желания и обладания, сладкой настойки, от которой не может не кружиться

голова, а сегодня она откупила первую бутылку. Будучи человеком вполне здравомыслящим, Лариса понимала, что дальше будет непросто, что она разжигает пламя, которое не сможет погасить. На безоблачный роман она почему-то даже и не рассчитывала. Она боялась думать о том, что происходит между ними, между ней и Валевским, боялась, потому что безупречная репутация Валевского, репутация верного мужа, была ей хорошо известна. И поэтому она не хотела знать, увлекся ли он ею всерьез или просто-напросто его добродетель, вечно выставленная напоказ, пожелала сделать исключение ради нее. Вообще говоря, думать о случившемся с точки зрения морали она боялась. Боялась, потому что слишком долго об этом думала, потому что долгие годы, прошедшие под девизом «пристойно и нравственно», как раз и иссушили тот хрупкий цветок, что зовется радостью. И сейчас она опасалась, что опять упадет с восторженных высот своей блаженной любви в скучную, стерильную рутину этой самой благопристойности.

Лариса вымыла руки мылом с запахом лаванды, вынула шпильки из волос, надела белый стеганный халат и пошла в спальню. Супруга, Владимира Александровича, еще не было дома. Вероятно, у него много работы. В спальне стоял нежный аромат ириса, из приоткрытого узкого окна веяло вечерним свежим ветерком, шевелились изящные занавески из шифона, на туалетном столике с изогнутыми ножками стояло множество склянок. Немного постояв посреди комнаты,

словно не понимая зачем она здесь, Лариса повалилась на кровать, устланную голубым шелковым покрывалом, с множеством подушек и закрыла глаза... Они расстались, так и не назначив друг другу следующего свидания. Все-таки, что же это сегодня было? Похоже на одноразовый нервный припадок? Или нет? А что же дальше? Ничего? Или они будут играть в любовь украдкой? Или... Она задавала себе вопросы, даже не пытаясь на них отвечать, потому что ответы для нее были не важны.

Вскоре вернулся раскрасневшийся, запыхавшийся Владимир Александрович с «много работы», облизывая мясистые губы, и держа под мышкой бутылку какого-то вина. Могут ли они вместе поужинать? Поужинать? Нет, спасибо, что-то есть совсем не хочется. Вам нездоровится? Может ли он чем-нибудь помочь? Нет, нет, все в порядке, но не ответит ли он, почему опять так поздно? Ах, да, да, разумеется, «много работы». Спокойной ночи. Благодарю, и вам спокойной.

Владимир Александрович, как и положено образцовому супругу, тихонько притворил за собой дверь, но скорее механически, чем заботливо, и скрылся в недрах их просторной квартиры. Лариса с облегчением выдохнула. Сегодня не придется ломать комедию, играть и переигрывать.

Лариса решила отвлечься от чувствительного мужа и думать о Дмитрии, только о Дмитрии. Дмитрий. Любовь. Она быстро задремала. Любовь! Какая она будет эта любовь? Что же есть такое эта любовь? В ее жизни никогда не было любви.

В детстве, конечно, ее любили родители – отец и мать, и она их любила, но это совсем не то. Владимир Александрович умел любить только самого себя. А сейчас, впервые в жизни, Лариса чувствовала, как она вся изнутри наполняется теплом и светом, как ее сердце утопает в пении каких-то райских птиц, в согревающем солнце и мглистой прохладе вечера. Как чудесно! В полудреме она видела мужчину с лицом Дмитрия Валевского, мужчину, который принесет ей душевный мир, который все понимает, мужчину, с которым можно всем поделиться, которого она станет оберегать и опекать точно так же, как и он ее, она видела мужчину, ради которого можно отдать все-все без остатка. «Но, может быть, – зачервоточило где-то в глубине то ли сознания, то ли сна, – но, может быть, он напоит до отказа сердце не согревающим светом, не райскими звуками, а ледяной горечью, а потом жестоко растерзает это сердце и выбросит на помойку, как обычно выбрасывают кожуру от апельсина, из которого уже отжали и выпили сок?» Любовь – это дар небес, а небеса не постоянны в своих щедротах – они могут и одарить сверх меры, а могут и лишить своей благодати без всякого предупреждения. Такой порядок вещей в мире может вызывать восхищение или недоумение, его можно принимать или отвергать, но поделаться с этим ничего нельзя. От испуга Лариса тут же проснулась. Она села на кровати с трясущимися руками, вспотевшими висками, не понимая, что ее так сильно напугало.



В этот же самый вечер Дмитрий Валеvский снова нарочно оттягивал время, сначала делая один круг за другим вокруг дома, а потом, так и не дойдя до своей парадной, сел на скамейку соседнего двора. Каждое дерево, каждое светящееся окно, каждое дуновение ветра говорили ему, что для бешеной собаки семь верст – не крюк. Особенно для счастливой бешеной собаки. Валеvский был не в состоянии поверить в случившееся: он уклонился, свернул с пути добродетели, дал волю своим чувствам, нарушил все мыслимые и немыслимые нормы, но при этом ощущал себя на седьмом небе. Он показал себя мужчиной, пусть ему и не удалось сделать этого сразу, но, в конце концов, Лара ушла счастливой. Ему не хотелось идти домой, в свое уютное, правильное, элегантное гнездышко, обставленное с редким изяществом его заботливой супругой. Валеvский предпочел отдышаться на свежем воздухе на темной влажной скамейке под покровом чернеющего неба, роняющего вечернюю летнюю морось.

Несколько дней назад, когда он думал о Ларе, ему казалось, что «после» он непременно должен будет испытать удовольствие вора, завладевшего краденым. Но ничего подобного не произошло, напротив, он почувствовал, что наконец-то получил свою законную долю счастья у жребия, до сих пор бессовестно обворовывавшего его самого.

– Я хочу жить, я хочу дышать полной грудью, я ведь это заслужил! – Взволнованно сказал Валевский темноте и тут же сам себе усмехнулся. Сколько мужчин и женщин, молодых и старых, сколько миллионов надеющихся сердец ежедневно возносят эту молитву небесам и терпеливо ждут, ждут даже тогда, когда их незатейливые мечты, их скромные молитвы, не достигнув звезд, вдребезги разбиваются о реальность вместе с их душами и их сердцами.

Где-то еле слышно шуршали дождевые капли, слабый ветерок тормозил сухие ветки лип и кусты засохшей от солнца смородины, и они, тихонько потрескивая, соприкасались друг с другом. Уставившись в тихую темноту ночного неба, Валевский впервые за долгие годы без отвращения, а скорее с некоторым удовольствием, закурил сигарету и почему-то вспомнил свою юность.

\* \* \*

В той самой далекой юности, на первый взгляд, Митя Валевский был самым обыкновенным, тощим, долговязым студентом, довольно несуразным, простодушным и без всяких амбиций, так, во всяком случае, могло показаться. Однако, если присмотреться к нему повнимательней, то довольно скоро улавливался тот самый тщеславный блеск в глазах.

Когда-то давно Мите нравилось сначала быть лучшим в классе, потом он блестяще закончил университет и аспи-

рантуру, но отнюдь не из-за недюжинных способностей. Его умения были самые что ни на есть обычные, но вот тяга к совершенству, вызывающая восторги, зависть и восхищение, у него была как-то особенно развита. Окончательно повзрослев, Дмитрий Михайлович уже прямо-таки обладал уникальным талантом по части достижения всевозможных целей. Он умудрялся ставить огромное количество целей – повседневных и отдаленных, глобальных и откровенно ничтожных, – и с невероятным упорством осуществлять задуманное. То он шлифовал свой английский или французский, то брал уроки фортепиано, то занимался вольной борьбой, то шахматами, то вознамерился достичь максимального совершенства в профессии, погружаясь полностью в написание то диссертации, то всевозможных статей. Он шел как бы от вершины к вершине, а покорив одну, тут же намечал следующую, и это до краев наполняло его жизнь смыслом. Так продолжалось до тех пор, пока он не перестал чувствовать вкус самой жизни, как, например, перестают чувствовать вкус вина, бесшабашность, запах моря или радость беспечного смеха. Все в его жизни было слишком взвешенно и невероятно осмысленно – никаких глупостей, никаких оплошностей. И как только он почувствовал отсутствие полноты жизни, тут же был взят в тиски разочарования, густо смазанного отчаянием, что для его профессии непозволительно и даже, не будет преувеличением сказать, оскорбительно.

Что ж, в невесты он избрал себе чудесную невинную де-

вушку, необыкновенно привлекательную, которая боготворила его, и его это нисколько не удивляло, скорее наоборот, Валевский воспринимал ее обожание, как нечто, само собой разумеющееся, и не спешил жениться. И лишь по прошествии четырех лет конфетно-букетного периода, да и то только когда, матушка сказала: «Митя, чего ты ждешь? Лида – чудесная партия», – Валевский женился. Он женился не только потому, что об этом мечтала его мать, но и потому, что стал плохо переносить одиночество, а внутри все чаще щемило от тоски. Потом, много позже, он не чувствовал недостатка в образовании или общении, зато самым парадоксальным образом ощущал недостаток счастья.

Так, жребий, выпавший на его долю, лишил его любви, как капризный старец лишает наследства по непонятным причинам самого достойного члена семьи, самого лучшего из всех претендентов. Валевский никогда не знал, что такое любовь. Многие женщины, включая жену, упрекали его в холодности, в отсутствии сладостных безумств, которых они терпеливо ждали от него, но к сожалению, тщетно. Жребий лишил его этих дивных восторгов, дав взамен рассудительность и хладнокровие. Жребий выделил ему чудесную жену, высокую финансовую стабильность, семейное благополучие, но забыл одарить самым главным – любовью.

Валевскому казалось, что не он, а кто-то другой живет этой жизнью, а он сам просто смотрит какой-то затяжной фильм про успешного неудачника, которого неверный жре-

бий щедро одарил, правда, не тем, чем нужно. И эта бесхитростная, но вполне откровенная мысль не способствовала ни духовному, ни физическому подъему. Временами эти чувства и мысли притуплялись, подавлялись, и Валевский знал, что все скоро пройдет, уляжется. Он был, как всегда, прав: душевные хвори проходили, ненадолго сменяясь тихой радостью, а потом возобновлялись, и так повторялось вновь и вновь, бесконечное количество раз. «Нищше накаркал, – вновь злился Валевский, – прямо в воду глядел со своим бесконечным повторением. Ну что ты будешь делать? Прямо хоть плачь».

Любование собственными добродетелями, тяжело или легко обретенными, радости более не доставляло. Всего, чего только можно было достигнуть в жизни, он добился, но это все было не то, а главное, было непонятно, что нужно делать дальше. Он до чертиков устал носиться со своими внутренними и внешними переживаниями. Ему хотелось ощутить радость от самой жизни, а ее-то как раз и не было. «Ну хорошо, хорошо, – уже тогда говорил себе Валевский, – других, можно сказать, я обманул. Как же обмануть себя? Как же впарить себе, что я счастлив? А?»

Глядя на дымок сигареты, вкушая буйное благоухание летней ночи, Валевский ни с того ни с сего почувствовал, что в этой синевато-черной содрогающейся темноте что-то кроется. Он буквально физически ощутил запах тревоги, затаившийся и терпеливо поджидающий свою жертву, сулив-

ший ей в самом ближайшем будущем роковые перемены. От таких предчувствий, от столь пронзительных видений, нервы Валиевского зазвенели как стекло, воздух разбух как на дрожжах и стал невероятно душным.

– Вот идиот! Совсем ополоумел на старости лет, – убежденно даже для себя самого буркнул Валиевский. Он грузно встал со скамейки, сердито покачал головой и, подняв воротник тонкого льняного пиджака, зашагал в сторону дома.

\* \* \*

Вряд ли в истории человеческой жизни найдется глава прекраснее той, что называется любовью. Любовь переливается в наших душах бесчисленным множеством разрозненных оттенков счастья, гармонично сливаясь в единое и сложное целое с предметом нашего обожания, и это позволяет нашей фантазии хотя бы ненадолго предположить, что силами и гением великого творца мы стали избранныками.

Примерно так себя чувствовали Валиевский и Лара во время дневного свидания, когда первый румянец смущения с учащенным дыханием начал проходить, а они сами, пусть и на несколько мгновений, превратились в светлых, чистых, покорных птиц, поющих одну и ту же весеннюю песнь любви. В окна отеля струился неизъяснимый свет блаженства. Лара задышала свободнее, ее губы все еще невольно вздрагивали, ее еще затуманенный взгляд ласково рассматривал

возлюбленного, ее обоняние улавливало его запах, а слух был предельно настрожен.

– Как тебе удалось убежать от мужа?

– Он мною не особенно интересуется.

– Он будет тебя ревновать?

– Мой муж слишком деликатен для этого.

– Значит, он попросту не ревнив. Ревность – это такая область, где трудно проявлять деликатность.

«Ха, нарциссу и в голову не придет ревновать, ему не до того», – злорадно подумал Валевский, но вслух говорить этого не стал.

Дмитрий блаженствовал, это было абсолютное счастье, когда невозможно желать чего-то сверх. Он лежал под одеялом и боялся пошевелиться. Словно, его счастье, равно как и он сам, состояли из миллиардов крохотных песчинок, представляющих собой слаженную форму, и стоит только пошевелиться, как вся эта умиротворяющая гармония, представляющая собой тот самый лучший жребий, начнет рассыпаться. А Валевскому хотелось как можно дольше сохранить это состояние, эту умиротворяющую благодать, идеальность момента, похожую на музыкальную легкость мысли, божественно-прозрачные воды которой оказались расцвечены всей многоголосой, многоликой палитрой цветов и оттенков.

– У тебя красивый перстень, – сказал Валевский, глядя на вензель с тремя огромными белыми камнями.

– Это все, что осталось от моего рода, и это все, что останется после меня. Когда-то этот перстень носила моя мама, а до этого он принадлежал моей бабушке, а я завещаю его своему возлюбленному – мужчине, которого буду любить всегда, – очень просто, почти покорно, сказала Лара.

Валевскому не хотелось думать, что все может закончиться, ему не хотелось заглядывать в будущее, тем более что ничего хорошего, скорее всего, их там не ждет, сейчас он чувствовал себя романтическим, лирическим героем, и этого было вполне достаточно. Однако его мелкое тщеславие заставило предположить, что возлюбленным, о котором говорила Лара, должен быть он и никто другой.

– Почему ты ничего не рассказываешь о своих женщинах? – неожиданно спросила Лара.

– А что, разве надо? – с искренней непринужденностью поинтересовался Валевский.

Она пожала плечами и опустила глаза, как маленькая девочка, сказавшая глупость. Валевский подумал, какой нелепостью бы это ни казалось, но в ее женском теле живет душа ребенка – бесхитростного и открытого, невинного в своем детском любопытстве. Этот ребенок то и дело давал о себе знать. Валевский нежно обнял Лару за тоненькую талию.

– Лара, подумай сама, такие мужские признания обычно сильно огорчают женщин, – начал он наставительно. – В них нет вообще никакого смысла. Но в моем случае, признаюсь честно, и рассказывать-то нечего. Боюсь, это звучит глупо и

ужасно банально, но до встречи с тобой женщины меня не интересовали. Вообще. Правда.

Произнося этот трогательный монолог, Валевский несколько не кривил душой, ибо его интерес к жизни по большей части проявлялся в осознании собственного превосходства, поскольку во всех своих больших и мелких делах он, несомненно, был лучше многих. Ему представлялось, что достижение внешнего и внутреннего превосходства и является своеобразным мерилom «прекрасного жребия». Но теперь весь мир для него был заключен в ее теле. И в данный момент он был занят изучением этого мира, хотя и отлично понимал, что мир этот, скорее всего, так и останется для него terra incognita. Разум его бесконечно будет занят попыткой доказать вечную теорему, которую невозможно или почти невозможно доказать. Также он отлично понимал, что в последнее время он счастлив именно благодаря ей. Он ее не восхвалял, не идеализировал, не считал ее высшим существом, и даже мог сказать с большой долей уверенности, что ее внешность ничего выдающегося из себя не представляет, однако его внутренний голос то и дело пел: «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем...»<sup>3</sup>

– Неужели не интересовали? – она решила уточнить, так, на всякий случай.

– Можешь мне поверить, – твердо сказал Валевский.

---

<sup>3</sup> Слова из оперы Ф. Галеви «Иудейка», впервые была поставлена 23 февраля 1835 года в Париже.

А что прикажете делать, если угораздило жить в такое время, когда считается нормой душевная нечистоплотность, разнузданность в поведении, половая свобода и прочая несуряница, от которой дурно пахнет. Все это не просто не осуждается, а даже приветствуется, словно распущенность представляет собой особое личное достижение. Создается впечатление, что все мужчины видят в женщинах самок для спаривания и смотрят на них соответственно. Женщины же, в свою очередь, зная о таком неприглядном предназначении, ведут себя соответствующе, – можно сказать, из кожи вон лезут, чтобы не только не разочаровать мужчин, но и не уступать им в расхлябанности, а то и просто демонстрируют, что это, мол, они сами себе подыскивают подходящего самца – лишь бы не уступить пальму первенства.

А вот в давно минувшие времена, отголоски которых нам сохранила литература, причем литература с большой буквы, в те самые времена мужчины смотрели на женщин более чем почтительно, как на нечто недостижимое, так, как смотрят на богинь. И это, надо сказать, приносило свои плоды: девушки и женщины, зная, что их обожают, и вели себя как подобает. Непотребные девки для мгновенной любви, разумеется, были во все времена (куда ж без них, ведь мужчины в обычной жизни отнюдь не монахи), но это никак не перечеркивало и не умаляло уважительного отношения мужского пола к благопристойным женщинам, к будущим невестам, женам и матерям. И мало кому приходило в голову

осквернять невинную чистоту, даже если невинность по каким-то роковым обстоятельствам оказывалась не такой уж кристальной. В жизни, как говорится, может быть всякое, ни от чего нельзя зарекаться. Уважение, поклонение, почитание, высоту помыслов, вроде бы, пока никто не отменял, но нынешнее положение вещей существенно изменилось. «Это еще, конечно, не древний Вавилон, – иногда про себя думал Валевский, – но уже очень близко к этому. Если так и дальше пойдет, то мы даже сможем их переплюнуть».

Действительно, к современным женщинам Валевский относился с некоторой прохладцей. Однако, это ни сколько его не пугало, он даже ничего не имел против отсутствия тяги к распутству, но все равно на женщин поглядывал с некоторой брезгливостью – то ли потому, что они всячески демонстрировали свою быстродоступность, то ли потому, что сам он, соприкасаясь с прекрасным, не чувствовал особого восторга. «Поухаживать толком не дадут, – по молодости лет злился на женщин Валевский, – сразу им топчан подавай».

Злиться-то он злился, но мысли и чувства, как известно, – подруги непостоянные, и в благостные минуты его радовала свобода от женщин, а точнее, свобода его мужского естества от интереса к ним, в мрачные же периоды он переставал верить в нужность своих достижений и сильно сомневался во вреде некоторых вольностей.

Теперь все встало на свои места, теперь ему наконец-то хотелось признаться в любви Ларе, сказать, что она создана

для него... Но именно в этот момент Лара так на него посмотрела своими выразительными песочными глазами, что он понял – никто ни для кого не создан, что все это не более, чем слова. Любовь! Прежде он не мог объяснить людскую суету вокруг этого слова, но и сейчас он был не уверен, что понимает его смысл. Что-то мешало родиться этой его уверенности, и он не знал, что именно.

Лариса же каким-то необъяснимым внутренним чутьем что-то улавливала во взгляде Валевского и понимала, что миг ее неожиданного счастья может оказаться последним. И эта в некотором роде обреченность, этот трагизм лишь усиливали сейчас вкус ее счастья. Почему в любви все становится ярче, красочнее, почему все кажется возможным и достижимым, а недостижимое заменяется грезами и фантазиями? В грезах, в мечтах, в том, что никогда не станет явью, легче смириться с реальностью. Это восхитительно, но вместе с тем и губительно, ибо в любви самое главное не давать волю туманностям, не начинать любовный роман пуская в ход собственное воображение.

– Хочешь, я расскажу тебе сказку? – игриво спросил Валевский, видя, что она сейчас где-то далеко, и пытаясь завладеть ее вниманием.

– Сказку? Ты умеешь рассказывать сказки?

– Я все умею. Ну, почти все. Слушаешь?

– Слушаю, – сказала Лара и закрыла глаза.

– Когда-то, давным-давно, в одном море-океяне стоял

прекрасный остров с золотым городом. И были в этом городе-острове роскошные улицы, вымощенные мрамором, и золоченые храмы, и дома, наполненные красивой мебелью, цветами и ломившимися от избытка лакомств столами. А жили там богатые, но нелюдимые островитяне. Каждый день к этому острову подплывали византийские, саксонские, скандинавские корабли, нагруженные разными товарами, но жители острова никому не открывали ворот, на всех воротах висели тяжелые кованые замки. Висели они потому, что жители острова больше всего на свете боялись незнакомых людей. В каждом незнакомце они видели разбойника или бандита, способного причинить им вред, и даже безобидных дельфинов, проплывающих мимо, жители острова и то отпугивали. В общем и целом страдали они вот такой навязчивой идейкой. Но бывает и хуже, не правда ли; что уж тут поделаешь! А корабли все приплывали и приплывали, а островитяне все боялись и боялись. И до того они все добоялись, что решили построить высокую-превысокую неприступную стену вокруг острова, чтобы уже никто и никогда не смог нарушить их покой, не сумел преступить границу их владений. Быстро росла та каменная стена, слаженно трудились жители, и стена становилась все выше и выше, а покоя в душах островитян все не было и не было. И вот уже не видно пролетающих птиц, и корабли стороной обходят этот остров, и морские обитатели боятся к нему подплывать. И стоит себе остров, словно мертвый. И тогда другой жуткий страх

охватил жителей, и стали они разбирать высокую стену. Но не поддавались им тяжелые упрямые камни, не уменьшалась стена, а, наоборот, становилась все выше и выше.

– Что за дурацкая сказка? – с возмущением спросила Лара. – Зачем ты мне ее рассказываешь?

– Подожди, ты не дослушала. Знаешь, что может спасти жителей золотого острова?

– Что? – резко спросила она.

– Только чудо, разумеется, моя деточка.

– Чудо? Какое чудо?

– Ну, как какое? Обыкновенное. Какое же еще бывает чудо. В один прекрасный день прилетит волшебная фея, похожая на Беатриче, коснется самой верхней точки стены своим волшебный крылом и чары тут же разрушатся: стена рассыплется, жители острова окажутся на свободе, в небо взлетят райские птицы и запоют там свои торжественные гимны. В общем, свобода отпразднует победу. И побудить фею к волшебству должна не сила сострадания, как мы понимаем.

– Да? А что же тогда?

– О, конечно, сила любви, если позволишь. Видишь ли, золотце, было в этом острове что-то такое особенное, чем нельзя пренебречь.

– Неужели? А если фея не сможет коснуться самой верхней точки? Если она не долетит, а если разобьется?

– Если разобьется? – Валевский сделал вид, что задумался, потирая ладонью отросшую щетину. – Ну, если она разо-

бьется... если разобьется, тогда остров ожидает самая трагическая участь. Тогда остров-призрак со всеми жителями, животными, храмами, колоколами, со всеми его восхитительными прелестями, так и останется погруженным в каменный мрак, закрытым от всего мира и затерянным где-то в океане. А со временем он непременно затонет, да, обязательно затонет, и будет покоиться под водой на дне морском. Точно так же, как Содом и Гоморра покоятся под толстым слоем вулканического пепла на дне Мертвого моря.

– Выходит, фея, не расколдовав его, погибнет зазря?

– Точно, зазря. Как есть зазря, – закивал головой Валевский.

– Валевский, ты дурак. К тому же нескромный дурак.

– Это точно, моя любимая, я никогда не был слишком умен!

– Мне тошно тебя слушать, Валевский, ты мне надоел.

– Мне самому тошно себя слушать, мое длинноногое чудо, я и сам себе порядком надоел, – в его взгляде чуть тле-ла ласковая насмешка. – Знаешь, что? Мне пришла в голову недурственная мысль – поехали на фонтаны?! А?

– Фонтаны уже закрыты.

– Тогда поехали пить шампанское в Летний сад. Отметим спасение сказочного острова.

– Ничего нельзя отмечать раньше времени – плохая примета.

– А я парень не суеверный, так что поехали сольемся с

природой.

– Тогда уж сольемся с архитектурой.

– Золотце, не противоречь мне.

– Это почему же?

– А потому, что стремление женщины спорить с мужчиной, говорит не о ее уме, а лишь об ограниченности духа.

\* \* \*

Фиолетовое солнце мягко уплывало, когда Валевский и Лара миновали ограду Летнего Сада. В саду было свежо и тихо. На гладко-серой отшлифованной поверхности пруда уныло плавал одинокий белый лебедь, нарушая идеальную гладь расходящимися кругами, и весело резвилось несколько невзрачных толстых уток. Утки проворно то выходили из воды на газон, поросший шелковистой изумрудно-зеленой травкой, то вновь быстро семенили к воде. Лебедь иногда снисходительно посматривал на них, словно давая понять, кто в этой обители главный, а потом лениво отворачивался и плыл дальше. Полинявшие утки, не ведая обид, не обращали никакого внимания на белизну его перьев, пронизанных бликами клонившегося к закату солнца.

Прислонившись к ограде, Валевский и Лариса некоторое время постояли, разглядывая уток и прислушиваясь к перешептыванию листвы, а потом Валевский сказал:

– Я впервые здесь после реконструкции.

– Каждое поколение оставляет свой культурный слой, – Лариса передернула плечами, будто извиняясь за кого-то, – кто-то оставляет после себя резные мраморные кружева фасадов, а кто-то вот...

Обменявшись нежным поцелуем и обнявшись, они пошли по чисто выметенной центральной аллее в сторону Кофейного домика. Над Садам, точно прозрачная дымка, лежал ясный безветренный вечер. Разросшиеся кроны деревьев почти сплетались над аллеями, образуя некое подобие арок, пропускавших сквозь свою листву солнечные блики. Валеvский на мгновение забыл о Ларисе, рассеянно глядя по сторонам, а она, опустив счастливые глаза, смотрела на его ноги в лакированных ботинках, смотрела с необъяснимой, нескрываемой, стихийной преданностью.

Когда-то в юности Валеvский здесь, в этом Саду, проводил много времени с Лидой, и был знаком с каждым деревом, с каждым изгибом аллеи, когда-то этот Сад имел над ним какую-то притягательную власть и былместилищем всех его желаний, всех его душевных порывов. Это было особое место, куда инстинктивно хотелось возвращаться, примерно так, как возвращаешься вновь и вновь на очень родной и спасительный берег. А сейчас возвращение вызвало в нем странную смутную тоску и потерянность, может быть потому, что Сад был буквально искромсан, изрезан вдоль и поперек деревянным частоколом, выкрашенным зеленой краской, а родные, столь привычные глазу мраморные статуи

заменены на гипсовые.

– Как странно, того, прежнего Сада больше нет. Моего сада больше нет. Теперь это совсем другое место.

– Немного потерпи и привыкнешь, – Лариса попыталась успокоить любимого, видя, как он огорчился переменам, которые в последнее время слишком часто возникают после реставрации.

Еще совсем недавно Валуевскому было сложно представить, что такому почтенному памятнику садово-паркового искусства современники позволят себе нанести подобные уродливые усовершенствования. И эти современники ведь не какие-то там вандалы и варвары, а самые что ни на есть просвещенные люди искусства, так называемые художники наших дней, как правило, безвкусные, но, видимо, считающие себя непогрешимыми в области эстетики. И эти люди со своим «безупречным» вкусом, без всякого уважения к имени создателя Сада подменили прославленные мраморные статуи на пошлый, вульгарный гипс, эти же люди позволили себе скрыть прекрасную четырехстороннюю перспективу банальными рядами обыкновенных деревяшек, напоминающих примитивный, далеко не лучший образец дачного забора. Теперь, находясь в самом сердце Летнего сада, посетитель лишен возможности обзора, ибо, куда ни посмотри, взгляд упирается в частокол того самого забора, отнявшего у всего ансамбля колорит веков, заслонившего собой все очарование аутентичной старины. Проходя мимо этих мелких,

но множественных проявлений «реставрации», которые растерзали когда-то замечательный, строгий, но при этом очень простой и очень петербургский культурный ансамбль, остается только закрыть глаза, чтобы поскорее убежать из этого места и больше никогда к нему не возвращаться. И зачем была нужна такая реконструкция?

«Лида бы сейчас наверняка очень расстроилась», – неожиданно и более чем некстати подумал Валевский, удивляясь себе самому. Да, он почему-то отчетливо представил, как бурно, будь он сейчас с Лидой, обсуждалось бы, как их любимому саду современная волна ампутировала мрамор, и ведь сделала это не случайно, а сознательно, по воле чьего-то дурного вкуса. Но он, словно испугавшись быть застигнутым на месте преступления, быстро отогнал от себя мысли и о Лиде, и о «реконструкции» – будь она неладна.

«Что происходит? Ведь я люблю Лару, и вот нате вам... что это за бесноватость такая? Кого я хочу обмануть – одну или другую? Почему находясь рядом с женщиной, которую ждал всю жизнь, я думаю о другой, о той, с которой никогда не был счастлив, о той, которую собираюсь оставить? Что это – привычка или банальное чувство вины? Почему, когда мы счастливы, мы всегда чувствуем себя немного виноватыми, словно быть счастливым – это непристойно». Виновато посмотрев в задумчивые миндалевидные глаза Лары, он готов был согласиться с чем угодно, в том числе и с гипсом, и с зеленым забором, лишь бы избавиться от чувства вины.

– Эй, о чем ты думаешь? – будто схватив мелкого воришку за рукав, спросила Лара, пристально вглядываясь в его лицо. В ее голосе прозвучало недоверие... или он просто так услышал, или просто показалось.

Вдоль аллеи стояли длинные скамейки, солнечные блики, запутавшиеся в разросшихся кронах старых деревьев, ранее мерцавшие на мраморе, теперь осыпали лица гипсовых статуй. Валевский и Лара сели в уличном кафе за маленький столик и наконец-то улыбнулись друг другу. Лара немного потянулась в знак удовольствия, продолжая смотреть ему прямо в глаза.

«Как приятно сидеть рядом с ним», – было в этом что-то самодостаточное, что-то беспечно-чувственное, не требующее никаких дополнений. Темно-красное бордо оказалось замечательным, уходящее на покой теплое солнце искрилось на ее волосах, придавая им какой-то гранатовый оттенок. Уличный скрипач ходил между столиками, выдавливая примитивно-лукавые слезы из своей выдавшей виды скрипки, периодически застывая в почтительном поклоне. И Лара почувствовала, как у нее внутри звучит необыкновенная мелодия, настоящая симфония любви, наполняя ее сиянием, а заодно и самоотречением, ненужным, но свойственным всем влюбленным женщинам. Молодой мужчина, сидевший напротив, не сводил с нее глаз, он смотрел на нее с удовольствием и радостью, с грустью и завистью, смотрел так, как обычно смотрят фильм о чужом счастье. Она одарила его

снисходительным взглядом, чтобы он мог почувствовать себя победителем, а потом предпочла отвернуться и более не замечать.

– Так, о чем же ты думаешь?

– Я? – растерянно переспросил Валевский, будто не понял вопроса. – Видишь ли, я думаю о том, как грустно, что этот дивный сад лишился своей мощной глубины и величавой простоты, взамен получив неприятзательный гипс и избытие деревянных реек. Он уже никогда не будет таким, каким был. Понимаешь, о чем я?

– Ну и что? К примеру, я не хочу оставаться такой, как была, – сказала Лара. – Пока я тебя не встретила, я сама не знала, какая я. Оказывается, я не холодная и равнодушная, каковой себя считала.

– Лара, послушай меня, этот сад... – как школьник запнулся Валевский. – Знаешь, золотце, просто я вспомнил слова Бродского о Венеции. Так вот, Бродский говорил, что лучшую память о себе наш век заслужил за то, что не тронул Венецию, оставил этот город в покое, и что идея превращения Венеции в музей так же нелепа, как и стремление реанимировать ее, влив свежей крови. Во-первых, говорил все тот же Бродский, то, что у них считается свежей кровью, в итоге всегда оказывается обычной старой мочой, а во-вторых, этот город сам по себе – произведение искусства и не годится в музей. Его нужно оберегать от вандалов, в числе которых можем оказаться и мы. А Летнему саду, видишь ли, золотце,

повезло значительно меньше, чем Венеции, в него так вли-  
ли ту самую «свежую кровь».

Из всего сказанного Валевским, восприятие Ларисы уло-  
вило лишь одно притягательное слово – Венеция, остальные  
ее мало интересовали и поэтому она их не расслышала.

– А я, к своему стыду, ни разу не была в Венеции.

– Тогда я тебе завидую.

– Почему?

– Я всегда завидую тем людям, которым предстоит впер-  
вые увидеть Венецию.

– А я ее увижу?

– Обещаю. Это будет моим подарком.

– Спасибо, любимый, но ты и так уже сделал мне чудес-  
ный подарок, – небрежно прервала его Лара, – и он обворо-  
жительно пахнет.

– Подарок?

– Да, ты подарил мне запах счастья.

«Ну вот, – грустно подумал осоловевший от этих слов Ва-  
левский, глядя на свежеразкрашенную стену Кофейного до-  
мика, с проступающими на ней темными пятнами сырости, –  
ну вот тебе и на, как мы все по-разному смотрим на мир:  
один замечает то, на что другой не обратит внимания, а дру-  
гой не видит ничего из того, что замечает первый. Вот вам  
и разница в восприятии, в мировоззрении, да и в чем хоте-  
те». На мгновение его охватила внутренняя паника, которая  
тут же сменилась какой-то спокойной обреченностью, если

не сказать безразличием.

Сегодня солнце как-то особенно не торопилось покидать этот день и этот сад, оно искрилось на непокрытой шее Лары и подсвечивало ее лицо так, что на нем заметно проступили все морщинки. От нежности у Валевого перехватило дыхание, и он залпом осушил свой бокал, чтобы как можно скорее отогнать досаду на самого себя. Но бокал оказался малоэффективным. «Почему же мы до сих пор не вместе?» – спросил себя Валеvский, и тут же сделал все тот же неутешительный вывод: «Какой же я все-таки трус. Я трус, я боюсь сделать выбор. Выбор – это приговор, пусть и не окончательный, но приговор. А я не хочу делать выбор, потому что, каждый раз выбирая, человек рискует сделать неправильный выбор. И что тогда? Тогда можно сильно об этом пожалеть. А если не выбирать, притихнуть, затаиться? Не выбирать – это тоже выбор. Однако... какой же я все-таки трус и лицемер». Лара не заметила его внезапного беспокойства, и она, увы, не услышала предупреждающий шепот безысходности, так низко пролетевшей над самым ее ухом. Наслаждаясь перспективой совместного беспредельного блаженства, Лара пила вино маленькими глоточками, пребывая во хмелю каких-то своих сентиментальных иллюзий. Полузакрыв глаза, она брала тонкими пальчиками крохотные кусочки сыра с тарелки и отправляла их в рот, словно птичка клевала. Она была счастлива.

– Давай немного пройдемся, а потом поедем домой, – уси-

ленно улыбаясь и злясь на самого себя, предложил Валеvский, чтобы уже закончить этот день, чтобы побыстрее отделаться от какой-то внутренней неловкости.

– Домой?

– То есть, я хотел сказать, по домам, – произнеся эту фразу, он моментально почувствовал, что краснеет, и понял всю нелепость ситуации. Он не может пойти с женщиной, которую любит, а она томится в отчаянии, потому что не может пойти вместе с ним, потому что хочет от него большего. Сейчас в этом саду, в этом мягком полусвете уходящей зари, ему показалось, что судьбоносное решение принято. Или почти принято...

\* \* \*

Однако, это только казалось, а, на самом деле, как бы странно это ни звучало, Валеvский не желал самостоятельно принимать никакое судьбоносное решение. Точнее было бы сказать, что решение он уже принял, внутренне он вроде бы решил жить вместе с Ларой и, возможно, даже жениться на ней, он прекрасно понимал, что сильно привязан к ней и никакая другая женщина ему не нужна. Он знал, что ему надоели любовные игры в прятки в виде встреч на несколько часов. Однако ему очень и очень не хотелось самому приводить ситуацию к нужному знаменателю, ему совершенно не хотелось самостоятельно рубить тот самый запутанный

узел, который вязал не он один. Втайне он все еще надеялся, что они попадутся в силки, что кто-нибудь расставит ловушку, их застукают вместе, разразится какой-нибудь банальный скандалчик, и все решится само собой и их отношения легализуются без его помощи. И с его стороны останется лишь с робкой благодарностью подчиниться судьбе, а сам он будет как бы ни при чем. Именно так и поступают все честные, порядочные мужчины, правда, об этом они стараются особо не распространяться. Итак, Валевский довольно долго лелеял надежду, что его жена Лида наконец-то включит голову, удосужиться, например, нанять какого-нибудь частного детектива, чтобы узнать, чем же занят ее супруг в свободное от работы время. Опять же его у теща ло, что м у ж Лары, гор е-ортопед, отвлечется, в конце концов, от производства внебрачных детей с одинокими медсестрами и набьет ему, Валевскому, морду. Это было бы чудесно, это было бы восхитительно, это решило бы многие морально-этические аспекты адюльтера. Так нет же! Нет! Все как в рот воды набрали! Все, словно по команде, завязали глаза и заткнули уши! Время идет, а ничего такого не происходит, будто никому и дела нет. От Лиды, положим, он еще вправе уйти, с этим он как-нибудь разберется, это не противоречит его внутренним принципам, но вот как увести Лару из семьи, как забрать жену у мужа? Этот вопрос посложней, такая мысль вызывала в нем легкую дурноту. Каким бы неверным и распутным чудовищем не был ее супруг, в какой бы грязи он ни валялся, —

это его дело, он уже большой мальчик, и никто не в праве его осуждать. Раз она сама его выбрала и много лет прожила с ним бок о бок, раз это ее решение, то и отменять его должна она сама. Разве не так? И склонность ее мужа к беспутству здесь ни при чем, это не аргумент для вмешательства третьей стороны. Лара сама должна отказаться от того, кого однажды предпочла себе в мужья, чтобы потом, в случае чего, а случаи, как известно, бывают разные, не валить все шишки на бедного Дмитрия Михайловича, сбившего ее с истинного пути, и предложившего ей разрушить священный семейный очаг. Какими бы глупыми не казались эти условности со стороны, но оказавшись в эпицентре событий, невольно начинаешь придавать им значение.

\* \* \*

Где мы будем жить? – как бы невзначай спросил Дмитрий Лару во время следующего тайного свидания.

– Какая разница, – счастливо откликнулась она, раскинувшись по ширине кровати. – С милым рай и в шалаше.

– Не говори банальностей, – Валевский внутренне поморщился, – ты же образованная женщина. Лучше скажи что-нибудь путное.

– Зачем? Ведь в банальностях и есть вся правда жизни.

– Что ты учила в университете?

– Науки и искусства.

– Ух ты! Как это?

– Очень просто, я окончила факультет наук и искусств, – она говорила рассеянно, низким теплым голосом.

– Не слышал ничего глупее.

– Это почему?

– А потому, что науки и искусства – это есть все, что имеется на этом свете. Не могла же ты изучать все на свете.

– Не знаю, наверное, не могла. Не помню. А ты приходи ко мне в музей, я проведу для тебя индивидуальную экскурсию. Тогда и оценишь.

– А ты уверена, что мне понравится? – попытался ухмыльнуться Валевский.

– Единственное, в чем я сейчас уверена, так это в том, что люблю тебя, – горячилась Лариса, сверкнув глазами.

– И я тебя, – тут же откликнулся Валевский, и сам в это почти поверил.

«Однако, любовь любовью, – тут же здраво рассудил Валевский, – а жить все равно где-то надо. Придется создавать свою скинию. А что делать? Если предположить, что она все-таки уйдет от мужа, где они будут ютиться?» После расставания с Лидой от его солидности мало что останется. Брошенным женщинам, как правило, свойственна неслыханная кровожадность, так что на гуманизм супруги он даже и не рассчитывал. Однако беззаботная непритязательность Лары его тоже начала потихоньку раздражать. Прямо она его ни о чем не просит, только иногда задает наводящие вопросы. Время

от времени у него даже складывалось впечатление, что не позови он ее «в даль светлую» или уж в какую там получится, или оставь он все на своих местах – она и тогда не сильно расстроится. Откровенно говоря, он не знал, каково им будет вместе, не знал, но очень хотел знать. Зачастую, правда, перед ним вставал вопрос: что будет, когда она его разлюбит или когда разлюбит ее он? То, что любовь пройдет, он не сомневался ни единого мгновения, ведь даже самое превосходнейшее из вин, в конце концов, становится кислым, а любовь такая же смертная субстанция, как и все прочее на этом свете. Просто людям страшно это признать, и они, себе в утешение, предпочитают говорить о любви вечной. Да и на здоровье! Что поделаться, ведь мы всего лишь люди, и как умеем, так и справляемся со своими страхами. Одно дело жить с женщиной, которую никогда не любил, жить спокойной, тоскливой жизнью, и совсем другое – бурно и радостно жить с любимой и ничего не бояться. Если любви не было, то стало быть она и не пройдет, а значит, не наступит разочарование, охлаждение, отчуждение, никто ни от кого не отдалится, потому что все и так были далеко друг от друга. И совсем иное дело – жизнь в любви, которая влечет за собой немало и не всегда приятных последствий. Сама по себе любовь – такая свободная вакханка, что ее невозможно удержать и с ней нельзя договориться, а потому рано или поздно она разворачивается и покидает вас.

Чем ближе Валиевский подходил к заветной черте, тем

быстрее улетучивалась его решительность, тем меньше оставалось в нем мужества. В конце концов, еще не поздно остановиться и повернуть назад, у него еще есть на это время.

– Так где же все-таки мы будем жить? – еще раз спросил Валевский, надеясь на предсказание своей пифии, но Лара отстраненно молчала.

– Эй, золотце, ты где? – он с нежностью посмотрел на нее.

– Знаешь, иногда мне бывает страшно, очень страшно.

– Почему тебе страшно? Теперь ты не должна ничего бояться, теперь у тебя есть я, и я всегда буду рядом – как говорится, в болезни и здравии, богатстве и бедности, и все такое прочее. Ты будешь со мной в бедности? – попытался утешить ее Валевский, видя, что руки Лары мелко дрожат. Впрочем, после любви, после желаний, перемешанных со стыдливостью, у нее всегда был легкий тремор, а сейчас он ясно видел, что она действительно боролась с каким-то внутренним страхом.

– Не шути так и не клянись понапрасну. Мне не нужны твои клятвы. Мне нужен ты.

Вроде бы она не сказала ничего нового, но Валевский почему-то был польщен сверх всякой меры.

– Порой мне кажется, что все это сон, – говорила Лара, – и этот сон не может вечно продолжаться, и когда я проснусь, тебя больше не будет рядом, все разлетится вдребезги, ты будешь жить, как и прежде, с другой женщиной, со своей женой, а я останусь совсем одна.

– Такое вряд ли может случиться, ведь мы уже прошли точку невозврата.

– Не верю, точка невозврата бывает у летчиков, в любви такой точки нет. Правда, сейчас это не имеет никакого значения, сейчас я очень счастлива, и даже боюсь прогневать Богов своим счастьем.

– Богов нельзя прогневать, они ведь не примитивные кровожадные злодеи, то и дело наказывающие нас ни за что ни про что и несправедливо требующие от нас каких-то жертв. И потом, у каждого свой Бог: у кого-то он мелочный, всемогущий и карающий, внушающий страх настолько, что его невозможно послушаться, а у кого-то он милостивый, всепрощающий, достойный поклонения, а у некоторых вообще никакого нет. Понимаешь? Каждый сам создает своего Бога, а если не создает, то отрицает уже кем-то созданного.

– Ты знаешь, если мы с тобой дотянем до Рождества, то я наряжу елку фарфоровыми зайчиками, птичками и лошадками, разукрашу колокольчиками и всякой разной мишурой... Будет очень красиво! – Она говорила почему-то с печальной улыбкой. – Так вот, я загадала: если мы с тобой доживем вместе до Рождества, то мы всегда будем вместе, значит мы – победители. Говорят, труден первый год.

– Конечно доживем и выпьем шампанского у нашей елки, – заверил ее Валевский, самодовольно улыбаясь.

– А я почему-то в это не верю. Не знаю, почему я так говорю. Предчувствие. Я сегодня что-то не в себе. Прости.

– Отбрось все предчувствия. Я буду с тобой. Буду согревать тебя, распалить тебя, буду обжигать тебя. Я это умею? – он обнял ее за талию, и тут же почувствовал, как испуганный кулачок сжимается и разжимается у нее внутри. Это его и забавляло, и раздражало, и умиляло одновременно.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.